

ИМЯСЛАВЕЦ

Книга первая

повесть

Владислав БАХРЕВСКИЙ

г. Москва

ПОТОМОК ПОТЕШНОГО ЦАРЯ

ВОЛК

Облака, будто ярочки, гурьбой и россыпью текли по небесной весенней нови. Небо так близко, чуть подрасти — и рукой дотянешься.

Сердце сжимала безумная радость. А что, если перегнать овечек с неба на землю?!

Оглянулся на изумрудное поле: хватит ли молодой травы для небесных странниц, — и снова глазами к горизонту, как через прорезь ружья. До горизонта саженей сорок, не больше.

— Не выдай! — мальчик припал щекою к шелковой шее любимца. И — шпоры в бока!

Земля шарахнулась от подков, будто ей стало больно. Скачок как полет. Мах! Мах! И зубы заныли от нестерпимой несправедливости. Обман! Горизонт обманул. За косогором степь. До неба, как до неба. Наехать невзначай не получилось.

— Господи! — крикнул мальчик в разверзшуюся над ним синеву. — Господи! Где же чудо Твое?

Повернул коня, пустил иноходью.

Ничего ведь не произошло. Вот только на правом виске дергается жилка.

По косогору — вниз, к тёмному лесу высоких вязов. Обычная прогулка, никто не узнает о глупых фантазиях. И тут вдруг дернуло, да так — чуть не перелетел через голову коня.

Конь храпел, пятился, рухнул на задние ноги. И, чувствуя, что в седле не удержаться, наездник прыгнул наземь, но поводья из руки не выпустил.

В десяти шагах, преграждая путь, стоял матерый волк.

Мальчик похолодел: с земли стремя не достать, в седло он садился с телеги.

Конь вдруг взвизгнул, шарахнулся. И стало слышно, как ударяют копыта, все четыре, о гулкую, не хуже барабана, землю.

— Не конь, а заяц! — сказал мальчик вслух, разглядывая обожженную уздой ладонь.

На волка тоже посмотрел: черная спина, бока

серые, почти белесые. Господи, какие глаза! Белье! А зрачки, наоборот, как ямы. Но глаза!.. В них же пусто, совсем пусто...

Волк, позволяя разглядеть себя, сел на задние лапы. Соображал: глупый перед ним или очень уж смелый. Не бежит, не кричит, а всего лишь человечиска, отпрыск.

Волк — улыбнулся. И мальчик — улыбнулся.

— Меня зовут Александр! — поклонился и шагнул к зверю.

Волк тотчас отступил и снова сел. Разбирало любопытство: человечиско скорее смел, чем глуп.

Оскалился, хватил пастью за плечо: блоха проклятая! — и, добродушно помахивая хвостом, рысцою потрусил к реке, к зарослям. Остановился, оглянулся, запоминая.

Через ветки кустарника хозяин яруг и чащоб видел примчавшихся на лошадях работников из имения. Галдели хуже галок, пахли мерзко: ружьями, порохом, человеком. Зверь злобно заворчал, щелкнул пастью и залег до ночи.

Евгения Андреевна встретила сына верхом на своем Стриже, без седла, босая, в утреннем халате. Увидела сына, сидящего впереди Тараса Криводуда, бросила поводья, закрыла лицо ладонями.

— Мама, всё обошлось! — крикнул Александр, ударяя пятками по бокам лошади.

— А что случилось?

— Ничего страшного. Моего Буцефала волк напугал.

— Волк? — У Евгении Андреевны не осталось сил, чтобы прийти в ужас.

— Ничего страшного, — повторил Александр.

— Волк сидел, улыбался, а потом убежал.

— Господи! Господи! — Евгения Андреевна приняла сына из рук Криводуда, посадила на Стрижа, лицом к себе. — Ах ты, мой смельчак! А вот я... не очень...

— Мама, ты тоже смелая. Ты даже на Круля садишься.

Круль — самый строптивый конь на конюшне, его Криводуд боится.

— Это другая смелость, Сашенька. Это — умение.

О волке забыто, словно ничего не произошло.

Сердце у Евгении Андреевны под горло подкапывает, но чувства у нее под надзором — мужчину растит, война.

— Вчера поздно вечером табун пригнали — поглядим, чем порадует.

— А я могу выбрать?

— Трёх! — расщедрилась Евгения Андреевна.

— Мама!.. — просиял Александр.

СТЫДНАЯ ТАЙНА

В доме из всех углов таращились глаза испуга. В Пудель Фараон, любимец бабушки Елизаветы Львовны, заскулил и спрятался под софу.

«Я волком пахну!» — возликовал про себя Александр.

Сестрица Наталья, она старше брата на целых два года, держала за руку трехлетнюю Машеньку.

— Что?! Что? — вырвалось у Натальи. — Тебя Буцефал сбросил?

— Я сам спрыгнул. Буцефал на задние ноги сел — волка испугался.

Александр чувствовал себя героем.

— На тебя волк напал?!

— Ничего не напал. Сидел, как собака, на задних лапах. Даже улыбался.

Наталья кинулась к братцу, расцеловала, омочила слезами.

— Мы так испугались.

Машенька тонушенько повторила:

— Мы испугались.

— А я не успел испугаться! — признался Александр и вдруг обиделся, прикусил нижнюю губу. — Все-таки это предательство: Буцефал бросил меня на съедение.

— Что ты говоришь? Что ты говоришь? — Матушка положила ладонь на его губы. — Бабушку перепугаешь.

— Госпожа Елизавета Львовна почивают, — успокоила горничная Оксана. — За полночь сидели: пасьяно у них не сходился. На террасе нынче холодно, я завтрак в столовую подала.

Оксана смотрела на барчука, будто впервой видела. Глаз не отирает, а ведь слезы на глазах-то.

Прежде чем сесть за кушанья, Евгения Андреевна прочла «Отче наш». О Боге в барском

доме вспоминали по праздникам, но день начался с чуда.

Александр, слушая молитвы и сам молясь, закрывал глаза, но теперь он смотрел на икону Христа, на Божий лик. У Господа в очах покойно, ведает, чему быть, чего не миновать.

Вздыхнулось. Так вздыхается после слез, очистивших душу.

— В воскресенье поедem в Сумы, закажем молебны в трех церквax, — решила Евгения Андреевна.

— А в нашей? — спросила Наталья.

— Наш батюшка радение имеет к стаду своих гусей, нежели к словесному.

На завтрак были телятина, пирог с мятой и кофе со сливками.

Александр удивился: в спину кто-то смотрит. Но за спиной на стене ковер. Портрет отца перед глазами, парсуна основателя рода — несчастнейшего старца Симеона — тоже перед глазами. Портреты генерала и старца невелики. Зато хозяин поместья — трёхметровый. Платон Иванович Курис, муж бабушки Елизаветы Львовны. Тоже покойный, грек, богатей. Он и на портрете богатей, на пальцах перстни с камнями, в руке золотая трость. Булавка с бриллиантом. А уж толстый — едва поместился на таком огромном полотне.

У батюшки Ксаверия Викентьевича лицо красивое, строгое, на плечах бахромы генеральских эполет. Генерал-майор Булатович командовал полком, стоявшим в Лебедяне. А родился Александр уже в большом городе, в Орле. В ту пору под началом отца был 143-й Дорогобужский полк.

Александр не помнил отца. Трёх лет не было, когда батюшка ушел в мир иной. Орла тоже не помнил. Они сразу переехали к маминной тетушке, в Луциковку. В свои семь лет Александр кроме Луциковки бывал в Сумах, в Лебедяне да в Ахтырке. А вот Грицько и Хведька, кроме Луциковки, совсем ничего не видали, а им по десять лет.

Александр не терпится помчаться к ребятам, но он знает, поспешишь — и прощай, свобода. Еще, пожалуй, за рояль засадят. Главное, дожидаться бабушкиного пробуждения.

После завтрака и молитв Наталья и Машенька сели рисовать. Наталья красками писала лесной

букет, поставленный в безупречно белую вазу. Золотые купавки, колокольчики, метелки трав. Машенька пыталась изобразить хату, но у нее не получилось. Тогда за дело взялся Александр. Правда, вместо хаты у него вышел слон, а Машенька очень даже обрадовалась.

Бабушка все еще почивала, и Александр пошел в библиотеку. Вытащил с нижнего стеллажа тяжеленный атлас, брякнул на стол. Открыл наугад и попал в Африку. Перед ним были Египет и Абиссиния. В атласе, между картами Египта и Абиссинии, он хранил свою ужасную тайну. Это была гравюра, вырванная из учебника истории. На гравюре царь Борис Годунов. Глаза у царя Бориса продырявлены гвоздем.

Казнь Сашенька совершил, когда ему было пять лет. Мама рассказала о прашуре, о несчастном царе Симеоне. На самом-то деле имя царя Симеона — Саин Булат. Его отец, Бек Булат — потомок ханов Золотой Орды, — служил Иоанну Грозному, получил в удел Касимовское царство. Саин Булат тоже был касимовским царем, воевал в Ливонской войне. Пережил кровавое разорение Новгорода. Ужасаясь опричнины, крестился. У Христа искал спасения. Но Грозный царь обрадовался крещеному хану, нареченному Симеоном. Все великое православное государство стало потехой Ивану Васильевичу. Играясь в смирение, посадил Симеона в Кремле на свой трон с титулом великого князя всея Руси, увенчал шапкою Мономаха, а сам съехал на Петровку, в простых санях носился по Москве. В Кремле сидел на лавке с боярами, челобитные подавал «царю», просил милости: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Иоанцом да с Федорцом, челом бьют».

Одиннадцать месяцев был Симеон царем Руси. Наигравшись, Иван Грозный отправил его на княжение в Тверь, присовокупив к уделу город Торжок.

Царь Федор Иоаннович не трогал тверского великого князя, а вот Борис Годунов, боясь потерять трон, даже в присяге имени своему несколько раз помянул Бекбулатовича: «Царя Симеона и его детей и никого другого на Московское государство не хотеть, не думать, не

мыслить, не смеяться, не дружить, не ссы- латься с царем Симеоном...»

Тверь и Торжок у Бекбулатовича отняли, са- мого спрятали в селе Кушалине, где жил без слуг, в великой скупости. Но и этого показа- лось мало Годунову. Царя Симеона ослепили, его старшему сыну Ивану дали яд.

Лжедмитрий I вспомнил о несчастном царе, вернул титулы, земли, поселил в Москве.

Но когда Москва заволновалась, старца постригли в монахи, нарекли Стефаном и отправили в Кирилло-Белозерский монастырь. Успокоился инок Стефан: все-таки в Москве, в Симоновской обители. И было это в 1616 году.

Почитая себя наследником Булатовичей, Александр, когда был маленьким, отомстил за пращура Борису Годунову. Но колоть глаза?!

Теперь Александр вырос и в свои семь лет стра- дал за совершенное зло. Тот, кто отвечает злом на зло, предаёт Иисуса Христа. Конечно, картинку можно было сжечь, порвать, выбросить, но со- весть знала о содеянном.

Александр хранил ужасную картинку, не умея отмолить непоправимый грех. Перевернув гра- вюру изнанкой, он, наказывая себя, не спешил закрыть атлас. Прочитал названия областей Абиссинии: Тигре, Амхара, Шоа. Глаза нашли несколько вершин. Буагит – 4510 м, Лалибала – 4197, Коло – 4300. Два синих пятнышка: озеро Тан и озеро Марга... Абиссиния – земля, кото- рую никогда не увидеть.

В библиотеку убежала Машенька:

– Бабушка проснулась!

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

Елизавета Львовна жила по правилам, кои завел в доме незабвенный Платон Ивано- вич. Утренняя молитва, утренний кофий и вместо лекарств – серебряный наперсток са- модельного целительного ликера.

Капиталами, доставшимися от Курсиса, Елизавета Львовна распорядиться себе во бла- го не умела. Но она была владелицей четырех тысяч гектаров изумительно тучной пахотной земли, леса, примыкающего к имению, самого

имения, с аллеями, прудами, со знаменитыми на всё Белополье садом, лугов по берегам прекрасной Сулы, а коли есть у тебя земля, то и небо над землей – твоё.

Бездетная, одинокая – чужой в Луциковке человек – Елизавета Львовна обрела семей- ный покой и душевную радость, вырастив сначала сиротку Евгению, а потом принявши в дом весь ее выводок.

История сиротства была в доме запретной.

– Подрастите! – говорила Евгения Андреевна детям. – Ваши дедушка и бабушка были удиви- тельно красивыми людьми.

– Как Адам и Ева? – спросил Сашенька.

– Они пеклись о благе человечества, – ответи- ла матушка.

С той поры Сашенька представлял бабушку и дедушку стоящими у печи. Пекарями.

В раннем вдовстве Евгении Андреевны Ели- завета Львовна почитала себя виноватой. Выда- ла племянницу в ее семнадцать лет за генерала. Генералу было шестьдесят, но ведь иметь зва- ние генеральши, нарожать потомственных дво- рян – судьба не худшая. Булатовичи княжеских да графских титулов не выслужили, но рода ис- торического, более того – царского, от века царского. В пращурах золотоордынские ханы, Батый, Чингисхан, а Симеон Бекбулатович, куда от сего денешься, – царь московский, а до того – царь касимовский. Разумеется, вся ази- атчина за три века выветрилась. Булатовичи воспитания польского, европейского.

Когда привели Александра, Елизавета Ль- вовна, как заведено было, любовалась розой. Ей приносили розу, самую прекрасную в сей утренний час.

– Сказывают, ты волка напугал! – в лице ни улыбки, ни озабоченности.

– Волк сидел на задних лапах. Я назвал себя и сделал шаг. Один шаг. И волк ушел.

– Тебя, мой друг, Господь бережет... Когда твоя матушка носила тебя во чреве, холера, как траву, людей выкашивала. Евгения заразилась, но выжила и родила.

Елизавета Львовна впала в задумчивость.

Александр стоял, ждал, когда ему разрешат уйти.

— Вот что, дружок... Я ждала, когда тебе исполнится десять лет. Но ты и в семь рыцарь! — взяла со стола колокольчик, встряхнула. На звон явилась горничная. — Оксана, Герасим пришел?

— Пришел, госпожа.

— Он готов?

— Готов, госпожа.

Появился Герасим — управляющий имением. В руках держал бабушкино ружьё.

— Примите, барин.

У ружья были тяжелые спаренные стволы, в ложе невесомое, в перламутре.

— Оно твоё, — сказала Елизавета Львовна. — Я хочу видеть и слышать твой первый выстрел. Ты — мужчина нашей семьи.

Ружье зарядили, вышли толпою на террасу.

— Сыпаните проса! — приказала Елизавета Львовна.

Просо высыпали в двух шагах от крыльца. Тотчас слетелись воробьи.

— Целься и стреляй! — распорядилась помещица.

Александр прижал ружьё к плечу, повёл дулом, ища через прорезь мушку. Грохнуло, ударило в плечо.

— Ура! — Елизавета Львовна бросила розу к ногам охотника.

На золотом просе комочками лежали воробьи, вился пух, иные бились, расшвыривая крыльями зёрна и землю.

Герасим сбежал с крыльца.

— Семь горобцов! В патроне была утиная дробь. Гарный выстрел.

ДОЛИВКИ

Александра обнимали, прикололи бабушкину розу к курточке. А у него от удара прикладом ломило плечо, в ушах звенело, отвратительно пахло порохом.

И наконец-то отпустили.

Кинулся к риге. Солнце жарило, но он сидел на земле, прижавшись спиной к брёвнам.

Ничего ему не хотелось. Ничего. Просидел бы в своем укрытии до звёзд, до чёрной ночи, но в имении всё о всех знают.

— Сашко! — то был Хвёдор Нехаенко, лучший

друг. — Айда к нам! Мамо вчера из трёх ульев соты достала. Мёд черевихенка. Едал?

— Не едал.

— Хочешь вперегонки?

Хвёдору не объяснишь, что воробьёв жалко, убитой жизни жалко, а кому объяснишь? Кто воробьёв пожалеет? Может, кошка?

Александр поднялся с земли.

— Говорят, ты бахнул с ружья всем на завидки. Уж на что Трикаш — охотник, а тоже дивовался.

Мёду не хотелось, о сладком даже подумать противно, но от самого себя только на людях можно спрятаться.

— До речки! — крикнул Хвёдор, срываясь с места.

У Александра с Нехаенком на скачках спор и в жизни спор. Нехаенок норовит доказать, что он во всем पहले барчука. Он и был पहले год тому назад. За год оба подросли, но сынок Булатовши на скачках никому не поддается. Он, конечно, самый легкий на конюшне, и коней ему дают хороших, да ведь не самых-самых... Боятся, не упал бы. Иное дело, кони стараются, во всю мочь несут на себе генеральского сына. Это уж всем известно. А почему — даже Гамай не ведает — первый знаток лошадиный.

— Уж такой уродился! — вот и весь сказ.

Хвёдор бежит, по сторонам не глядя, но вот ноги начинают скакать сами по себе, и, чтобы не разбиться, — с маху-то ого-го как приложись! — приходится сесть. Скорость безжалостна, сшибает Нехаенка. Кубарем катит: голова-ноги, голова-ноги! Смешно, а скорости нет. Александр взбегаёт на кручу, смотрит, как, цепляясь руками за траву, Хвёдор пытается встать на ноги и снова скользит...

Александр, раскинув руки, бросается в объятья ветру, ноги уходят в податливую кучу песка. Песок ползёт, несёт. И вот он — берег. Удар ладонью по воде.

— Победа!

— Я все равно бегая скорей тебя! — Хвёдор цвиркает слюной через зубы, а сам чуть не плачет. — Ты хитрый, вот чего! Хитрован!

— Я первый!

И тут уж ничего не напишешь.

Они переходят Сулу по мосткам, идут вдоль барского сада. И вот он, дальний, высокий край Луциковки. Луциковка село немалое. Полторы тыщи душ.

Хата Нехаенок белая, аж голубая. Небо отражает. Дверь в хате красная, чтоб солнце знало, куда ему входить. Призьба¹ тоже подведена красной краской.

Двор оплетён лисой. Так на Сумщине называют плетень. Каждый хозяин плетёт лису, сколь руки искусны, сколь в душе охоты, а в сердце красоты. Отец Хвёдора Василько Василькович — один с таким именем в Луциковке, и лиса кругом его двора на всю Сумшину одна такая. Заглядень! У хозяина — двор, у хозяйки — хата. А хата не токмо красным углом красна. Красный угол — Бóчов, там иконы, а вот пол для жиночьего старанья. Пол в хате не как у москалей — чтоб деревянный. От земли малоросские крестьяне отгораживаться не любят. А дабы земля не пылила, хозяйки мажут полы глиной — доливками.

У Ганны Харлампиевны доливки в хате белы как снег, а посреди избы — розовый с голубыми тенями цветок невиданной красоты.

Вся Луциковка побывала в хате Нехаенок, на цветок дивились.

— Не из головы взята! — решили сельчане.

— Не колдовской! — ворожеи в Луциковке знаменитые. Не поверить им — себе дороже будет. Сказали, не колдовской — стало быть, не колдовской.

— Ефиопский! — чтоб покончить пересуды, объявил Василько Василькович, и все согласились.

— Ефиопия — страна далекая, неведомая, там все неспроста, и люди там, хоть и христиане, а черным-черны.

Александр тоже любил поглядеть на эфиопский цветок. Стены от потолка до лавки увешаны рукодельем Ганны Харлампиевны. Луциковка сыздавна рушниками славится. Дивчинка с наперсток, а уже иголка в руке, в иголке нитка цветная.

В хате никого не было: матушка и старшие сестрицы Хвёдора ушли в луга собирать землянику, а Василько Василькович кузнец. В имени работает.

— Поглядим, чем богаты! — сказал Хвёдор и достал из печи два горшка.

В одном клецки, в другом — ячменная каша.

Клецки похлебали прямо из горшка, чтоб тарелок не пачкать. Кашу тоже ели из горшка. Ячменная каша в печи распаривается, мясо становится духмяным.

— Смачно? — спрашивал Хвёдор товарища.

— Вкусно.

— А сколько силы от ячменной каши! Ячменём тяжелозовов кормят. Стопудовые телеги тянут — и хоть бы что.

— Нет ли чего еще? — снова заглянул Хвёдор в печь и по лбу себя стукнул: — А мёд?

Съели по ломтю сотов.

— Теперича положим да поглядим! — предложил товарищу Хвёдор.

Они и пришли поглядеть на вышивки, полежать на прохладном — на шёлковом полу. Глиняный пол у добрых хозяек ласковый.

На вышивках плясали нарядные дивчины, все в красных сапожках, в цветных сарафанах, в венках из луговой красоты.

Александра тянуло тайной дерево на рушнике. Величиной во весь рушник. Крона пышная, а ствол гладкий, справа-слева от ствола парубки в красных рубахах. На что ни погляди — тайная тайна. Растения выются, как письмена, цветные квадратики складываются в затейливые узоры. Цветы — розы, выюнки, колокольчики с васильками, но есть точь-в-точь как на полу. Голубые, с тычинками, с лохматыми лепестками. И были синие цветы, и лиловые, но не среди травы, не в лугах, а в лесу. В цветущем лесу. В Луциковке таких деревьев нет. По балкам веснами, как реки белопенные, вишневые роши.

Древний дед Трохим Швачич всякую весну одно и то же говорит:

— Белая Русь. Потому и сказано, что белые снега, белые сады, белые лебеди.

— На цветок ложись, — присоветовал Хвёдор дремлющему Александру. — Вещий сон приснится. Дедусь Трохим, когда у него спину ломит, просится на мамкиных доливках полежать, особенно на цветке. Приходит согбенный, уходит прямой, как жердяка.

¹ Призьба — завалина.

О вещем сне Александр давно уж возмечтал, но Хвёдор на язычок слабоват, разнесёт басню про генеральского сына на всю Луциковку. Лучше не отвечать, сонным притвориться.

И уже через минуту Александр слышит, как сладко посапывает Нехаенок. Не притворяется, спит. Александр касается рукою цветка, но улечься на нем гордость не позволяет.

Берёт ботинки, стоящие за порогом, на крыльце обувается. Он теперь один на один с белым светом.

ЯВЬ КАК СОН

Хата Нехаенок высоко стоит. Вся Луциковка перед глазами. Зелёная лента вётел, садов, дикой вишни. Сула — лента воды.

Имение на другом холме. Александр намечает прямой путь. Неба над головою так много, что приходится сдерживать себя, до того хочется взмахнуть руками и полететь, до того хочется — ноги сами собой идут на пальчиках. Еще бы чуть-чуть. Самое-самое чуть-чуть.

Но человеку не дано летать. Александр суров. Чтобы не обольщаться, приказывает себе идти — по-солдатски ставит ногу с пятки на носок.

И неба уже нет. Чашоба. Деревца растут как попало, ветки лезут в глаза, корни хватают за ноги. Приходится подныривать под низкие своды, ломиться напрямки. На плечах что-то тяжёлое, потное, хоть пуговицы на груди порви.

Александр знает: не рысь сиганула ему на плечи, это — страх. Самое противное, что есть на белом свете.

Зачем нужно было лезть по нехоженому? Давно бы Сулу перешел мостками. Гонит прочь из груди страх, но в глазах — волк. Белоглазый.

И вдруг — река. Пахнет водой, настоящей на солнце. Над рекою — свет. И как чудо: ниточка лав. Лесник для себя сделал.

Александр стоит над Сулой. Вода катится из-под ног, клубами стоят деревья и кусты над берегами. Течет небо. И он чувствует: всё это для него.

— Господи!.. — тихонько говорит Александр воде, небу, земле. — Господи! Спасибо, что Ты призвал меня жить.

«Жить! Жить! Жить!» — может, это и по-во-

робыному, но счастливее слова нет у человека.

Александр перебегает реку по лавам и в который раз за день испытывает судьбу. Тропинка — вот она. Иди — и приведёт, но он спешит домой. Его, наверное, уже ищут. Снова идет прямёхонько через лес.

Деревья уж такие высокие, такие темные — вязы. Земля тёмная от прошлогодней листвы. Но вот синяя полянка — барвинки.

Приходится идти всё время вверх, ноги стонут от усталости. И кажется, что он очень давно в этом лесу. Деревья подступают, теснятся, и нет им конца.

Лучше бы всего вернуться, но куда выйдешь? Может, обратный ход не выведет, а уведёт.

В отчаянии Александр бежит. Бегать по лесу, да не вниз, а вверх — испытание. И вдруг — еле приметная тропка. Он ступает на нее как на хрустальную, — не расколоть бы. Тропка разворачивается, устремляется вниз, и — вода журчит! Ручеёк. Александр идёт на звук, ожидая спасения. Сруб. Криница. Хочется пить. Склонившись над водою, он видит старца. Отражение. Старец сидит на лавочке над криницей.

— Ты заблудился? — спрашивает старец.

— Заблудился, — признается Александр.

— Иди за мной.

У старца посох, но идёт он весело, и Александр даже птиц стал слышать.

Спустились вниз. За деревьями — дорога, свет, косогор.

— Это же совсем близко! — узнал Александр место.

Старец улыбнулся отроку радостно, будто внуку.

— Вы меня знаете?

Старец снова улыбнулся:

— Аз в радости зело. Ангела Хранителя тебе, чадо.

Александр пошел к дороге, хотя теперь-то можно было спрямить. Косогор — вот он, а на косогоре — имение.

Оглянулся: где же дедушка? Поискал глазами меж деревьев — всего-то на пять шагов отошёл. Никого.

Дома встретились. Старец смотрел на Александра со стены столовой.

— Симеон Бекбулатович!

ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ ТОЛЬКО ПОЖЕЛАНИЕ?..

Перед сном Александр забежал в столовую и, постояв перед парсуной Симеона Бекбулатовича, перекрестился.

Уже в постели принялся думать: не грех ли это? Симеон Бекбулатович к святым не причислен. Никто ведь не молится перед портретом Пушкина, Кутузова, царей... Парсуна тоже портрет, только древний. И все-таки... Симеон Бекбулатович хоть и не святой, но мученик. Его ослепили, убили его сына, разорили, насильно постригли в монахи... А если он всё-таки святой? Разве это хорошо — не молиться святому?

Александр сказал себе:

— Утро вечера мудренее.

А утром, даже без завтрака, — в дорогу. С мамой.

Земля летит из-под колес. Степь, пшеница, овсы... Пу-те-шествие! Шествие! Шествие!..

Для деревенского жителя всякий большой дом — в удивление. В Луциковке их барские хоромы велики, да одиноки. В городе — дом к дому. Все каменные. Деревья по струночке высажены. Это называется скверы. А есть площади. Вымошенные камнем пустыри, по краям которых — огромные, в три, в четыре этажа бесконечно длинные здания. Не дома — здания.

Церковь в Луциковке кажется высокой, а в городе потерялась бы, даже между обычными домами.

Сначала приехали в Спасо-Преображенский собор. Собор поставили во времена Екатерины I, но своды после смерти Николая I покрылись трещинами. Теперь город собирает деньги на перестройку. Уже и зодчего сыскали, господина Ловцова. Ловцов предложил начать перестройку с колокольни. Колокольню он собирался возвести высотой в пятьдесят шесть метров, чтоб собор стал самым высоким зданием города, его центром.

Поглядывая на своды, затянутые металлической сеткой, чтоб камни не падали на головы молящихся, Евгения Андреевна пожертвовала две сотни рублей. Александр, Наталья и

Машенька поставили свечи к иконам. Столь же коротко посетили классически строгий Ильинский храм. Заказали молебен о здравии семейства и отправились в самую старую в Сумах церковь Воскресения.

Высокая, нарядная, но столько прилепилось к ней пристроек, надстроек — на город похоже. На крепость. Стены толстые, в храме можно было отсидеться от врага. Окна как бойницы.

Служба шла в нижнем храме во имя Андрея Первозванного.

Приложились к кресту, подали записки о здравии, об упокоении. Александр упросил матушку записать для поминания старца Симеона.

Увидел иконы Симеона-столпника, молился горячо, чтоб все ушедшие в мир иной были взяты Господом в рай.

К семейству подошел монах, молодой, но приветливый, как старец.

— Берегите вашего сына! — сказал монах матушке. — Он у вас из тех, о ком сказано: соль земли.

И дал отроку просфору.

Матушка перепугалась, но просфору они разделили на пять частиц. Четыре съели, пятую решили привезти бабушке.

Обедать заехали к учителям Евгении Андреевны.

Платон Иванович Курсис некогда приглашал к воспитаннице лучших учителей, обретающихся в Сумах.

Александр смотрел на стариков всегда завороженно: им была введома минувшая знаменитая жизнь, ведь всё лучшее в прошлом: Ледовое побоище, Куликово поле, поле Бородина, осада Севастополя... Теперь тоже шла война, но все говорили — «ужасная».

Викентий Викентьевич — так звали учителя Евгения Андреевны — радостно поздоровавшись, заговорил как раз о войне, об осаде Плевны.

— Мне начинает чудиться, дорогая ты наша генеральша, что все здоровое, все даровитое русской армии обрывается на Кутузове. Ты читала, что делается? — учитель даже голову сжал руками. — Восьмого июля генерал Шульднер, не удосужась произвести разведку, атаковал с ходу крепость и положил три тысячи солдатских головушек. Русских, разумеется. Из имев-

шихся у него девяти тысяч. Треть. Через десять дней другой немец, Криднер, тоже генерал-лейтенант, дрожа перед турками, штурмовал Плевну, вводя в бой полк за полком — на убой! Крепости, понятное дело, не взял, но оставил на поле брани семь тысяч. Снова треть войска, только более многочисленного.

— Викентий Викентьевич, пощади! — взмолилась Анна Афанасьевна, маленькая, уютная, ласковая. — Евгения Андреевна историю тебе сдала и, слава богу, покончила с лютой твоей наукой. Ты посмотри, какое чудо она привезла нам.

Чудом были дети.

Подали самовар, варенья сорока сортов, пироги. Но Александр во все глаза смотрел на стену. На стене круглый щит, над щитом короткий меч и с двух сторон от щита по три копия с красными дrevками.

Викентий Викентьевич одобрительно улыбнулся мальчику, показал на меч:

— Сие — акинак. Оружие скифов. Щит — золотоордынцев, копия — казацьи.

— А почему русские генералы — немцы? — спросил Александр.

— Вот именно, почему?! — Викентий Викентьевич даже чашкой пристукнул о блюдце. — Были Румянцев, Суворов, Кутузов — и мы били. Теперь Криднеры, Шульднеры, а что имеем? Солдаты и офицеры — все герои, а бьют нас. Романовы без малого три века на престоле, но матери царей со времён Екатерины — немки.

— Викентий Викентьевич! — всплеснула ручками Анна Афанасьевна. — Для тебя, кроме твоей истории, нет ничего.

— А куда же от неё денешься? Отмахнуться от истории — равносильно отмахнуться от себя самого. Молодой человек, что вы предпочитаете: быть ничем-ником или стать историей?

— Стать историей! — сказал Александр.

— Bravo, мой друг! Коли желаешь, значит, будешь.

— Это в нашей дыре? В Сумщине? — покачала головой Анна Афанасьевна. — Какую же ты у нас историю сыскал, Викентий Викентьевич?

— В Сумщине?! История?! — Старый учитель поднялся медленно, словно загораживая собою пространство. — Курганы в их Луциковке — ро-

весники египетским пирамидам. А Слободяница? Все население Сумщины — переселенцы. После народных восстаний, после войн Богдана Хмельницкого! Скифы, гунны, славяне, русь — вот наши корни! Если же брать ближайшую историю княжества Рюриковичей, нашествие Батыея, падение Золотой Орды, возвышение Польши, распад Польши, величие Российской империи... Взять хотя бы Герасима Кондратьева — полковника Великого Войска Хмельницкого. Тут не только история, тут исторический роман, да еще с приключениями. Известно, что родная сестра Кондратьева была атаманшей разбойников. Она до того извела братца, что, поймавши сестру, полковник замуровал её в пидмурках² церкви. При Герасиме Кондратьеве в Сумах был один храм, Николаевский, деревянный, исчезнувший. Но полковник-то как раз и начал строительство Воскресенской церкви. Завершал же его сын Роман, тоже сумский полковник.

— Опять страстей наговорил! — сокрушенно вздохнула Анна Афанасьевна и решила. — У нас река-то под окошком. Викентий Викентьевич лодку новую купил. Пойдёмте покатаемся. Под вязами. Наши вязы — загляденье.

От зелени огромных деревьев, от изумрудной травы берегов вода в Псёле казалась зелёной. А черпни — хрусталь.

Викентий Викентьевич сказал:

— Наш Псёл прекрасен, но ваша Сула в Луциковке — сама поэзия и сама история.

*Кочени ржуть за Сулою,
Звонит слава в Кыеве,
Трубы трубят в Новеграде,
Стоят стязи в Путивле...*

Откуда это?

— «Слово о полку Игореве», — ответил Александр. — Я читал.

— Хорошо воспитываешь детей, Евгения Андреевна, — похвалил свою ученицу старый учитель.

Вернулись в Луциковку вечером — летом дни долгие — Александр сбегал к Суле. Умылся исторической водой, чтоб сбилось.

² Пидмурок — основа, фундамент.

Викентий Викентьевич сказал: пожелаешь и будет.

Александр пожелал.

МОЛИТВА

Открыл глаза: рассветает. Сразу вспомнил: у него важное дело. Что это за дело, не знал, но раздумывать времени нет. Отправился по дому в ночной рубашке. Ноги привели в Итальянскую залу.

В доме две залы, одна с люстрой — для балов, вот только ни единого бала пока что не случилось, в другой зале — картины.

Сел на пол перед Золотой Девой Марией. Опамятовался: не глазеть пришёл. Встал на колени, а сомнение — вот оно! Золотая Дева Мария не икона. Просто древняя картина — XV век. Золотое небо, золотая земля, плащ на Матери Иисуса небесно-синий, однако на отворотах золотой. И цветы на красном платье золотые. Нимбы золотые над головами золотых ангелов, трон золотой...

А может быть, это всё-таки икона? На соседней картине или тоже иконе справа и слева от Девы Марии с Младенцем стоят католические монахи, показывают раскрытые книги. Над головами монахов нимбы. Значит, святые. Похоже на икону в матушкиной спальне. На её иконе перед Богородицей святые Антоний и Феодосий — основатели Киево-Печерской лавры. Тоже с нимбами.

Но ведь если не знаешь, икона это или картина, можно не читать молитв, можно сказать Богородице своё желание. И не словами, а сердцем.

— Любовью! — осенило мальчика.

Стоял перед Золотой Девой Марией, перед Богомладенцем и видел, как прибывает свет в картинной зале. От картин, потому что картины просыпаются, наполняясь светом утра. Утро нынче розовое. Света прибывает, и Александр оглядывается на окна с нетерпением: уж очень хотелось солнца.

Сел у стены на пол: так удобнее рассматривать картины верхнего ряда.

Картины верхнего ряда все печальные: Иисус Христос, распятый на Кресте. Снятие с Креста. Иисус Христос воскресший и Мария

Магдалина... У Господа на ладонях, на ногах — стигматы. Александр знал это горькое слово: стигматы — раны Христа, от гвоздей... Ужасно! Кровь обтекает гвозди, пробившие руки и ноги, катится каплями.

Александр посмотрел на свои ладони и проснулся. Он впрямь держал ладони перед глазами: сон был короткий, тонкий.

О тайном посещении Золотой Девы Марии в доме пусть никто не знает. Пробежал на пальчиках в спальню, бросился на постель...

В спальне над кроватью любимые, хранящие от бед иконы.

Быстро сошёл с постели, упал, коснувшись лбом пола, перед образом Тихвинской Богоматери.

— Богородице Дево, радуйся!

И сам радовался. Лёг, заснул. Проснулся счастливый. Он знал, почему в нём такая радость: его Богородица любит.

Когда он снова пробудился, утро всё ещё было раннее. Умылся. Побежал к лошадям.

Лошади ему нравились, и он хотел пожелать им доброго утра, доброй работы.

Он был у ворот в конюшню. И замер.

Голос мамы.

— ...Криводуд! Что с передними ногами Круля! Что ты прячешься за спинами. Смотри!

Александр видит, как мама осматривает правое копыто Круля, потом — левое.

Криводуд стоит чуть поодаль.

— Где были твои глаза? Это же ревматизм. Всё бы вам поскорей, а мозгов нет! Отчего опухоль?

Криводуд молчал.

— Швачич! Трохим! Объясни ему.

Старый конюх вздыхает.

— Не углядел, барыня. Должно быть, сразу после скачки напоили.

— Побаловал Круля. Холодной водицы поднёс. Круля теперь лечить надо. Ты, безмозглая тварь, обезножил лучшего коня в конюшне. Пусть и тебе так же будет, как Крулю, — и хлыстом по ногам Криводуда.

— Урок тебе! Урок! Запорола бы тебя! За неделю не выходишь, пятки прижгу калёным железом.

Александр пятится от конюшни. Мама не должна знать, что он знает о ней. Бежит, бежит. И останавливается. Кругом ромашки. Солнышки. Всюду ромашки. И ему очень хочется превратиться в такое вот солнышко с белыми лепестками.

Молитва слетает с его губ, как удивительная бабочка с цветка.

— Богородица! Прости маму! Пусть маму гром не убьёт.

И тут ему открывается непонятное. Видит себя на резном стуле, выкрашенном сусальным золотом.

К нему подходят чередой люди, целуют ему руку. Губы у людей большие, а рука его маленькая. Это ведь было!

Александр бежит к бабушке.

— Я вспомнил! Я сидел на золотом стуле, и к моей руке прикладывались! Это было!

Бабушка смотрит на сына Евгении Андреевны улыбаясь, разводя руками.

— Это тебе был такой сон!

— Сон, — соглашается Александр. — Но сон был!

Сон был. Елизавета Львовна игру придумала. Александр Бек-Булат — царевич природный.

ЛОШАДИ

Скрыльца — в утро, как в золотую протоку.

— Где Гамай? — спросил у младших конюхов.

— На прогонке.

Гамай работал с Берендейкой, кобылой донской породы. На короткой лонже водил, пятиметровой. Лонжу-«фикс» пропускают через затылок лошади — не посвоевольничаешь.

— Ксаверич! — обрадовался барчонку Гамай. — Гарная резвуныя. Садись. Поглядим, как вольт у ней пойдёт.

Вольт — езда по кругу диаметром в шесть метров. Испытание для лошади и для всадника. Лошадь должна попадать задними ногами в след передних. Всадник же показывает, сколь владеет шенкелями. Хорошо обученную лошадь не надобно уздою дёргать, боками чувствует всадника.

После мамы Гамай — первый человек для Александра. Скачки — смысл жизни.

Сколько бы раз ни садился на лошадь, радость бухает в сердце. Под тобой большое, живое, пахнущее лучшим в мире запахом. Это большое, это живое движется, и краем глаза видишь — земля отлетает за спину, чувствуешь — пространство противится тебе, грудью в грудь — и отступает, покоряется.

Берендейка драла голову — уж больно лёгок всадник, взявшийся быть её повелителем. Но шенкеля мальчишки уверенные, точные. С шага на рысь, в галоп, в контргалоп.

— Гибкая лошадка! — Гамай шурил глаза на всадника. — И у тебя — что рука, что нога.

Выше похвалы от Гамаея не услышишь.

С манежа — на ипподром.

Хвёдор Нехаенок уже трёх лошадей поменял.

— На кружок?! Тебе Буцефала?

— Нет! — синие глаза Александра стали серыми.

— Тогда я — на Буцефале!

— Изволь.

Даже не глянул на своего бывшего любимца: может, и сам виноват, что упустил коня, но если ты друг, не поддавайся животному страху.

Александр сел на Апрельку. На белую, липпицианскую. Южная кровь, сербиянка.

Им крикнули:

— Пошёл!

Буцефал привычно сорвался с места — ни единого мгновения не упустил.

Апрелька начала бег с левады. Присела на задних ногах, подняла передние, зависая над землей, — скачок и стелющийся бег. Со стороны — ровный, а для всадника, для лошади — с прибывающей скоростью.

Когда поравнялись, Буцефал скосил глаз на вчерашнего хозяина и от нервного напряжения начал «крестить», галопируя с правой передней и подставляя под себя заднюю левую.

Александр чуть попридержал Апрельку, снова поравнялся. Отстал. И, не прибегая к плётке, одним лишь мызганьем, причмокивая, подзадорил Апрельку. Выдвинулись на корпус, на два. Тут круг и кончился.

— Буцефал сегодня крестил! — сердился Нехаенок.

— В следующий раз возьмёшь Апрельку, а я новую, донскую, — примирительно сказал

Александр, но сердце у него колотилось: казал Буцефала. Хорошо бы, если матушка продала его — с глаз долой.

На завтрак были котлеты, похожие на груши, картошка «оказия», тёртая, взбитая со сметаной, с яйцами. И земляничный мусс.

— Евгения, я забыла рецептуру твоих котлеток!
— Елизавете Львовне нравилось: завтрак для семьи Евгения Андреевна готовит сама.

— Куриный фарш, шампиньоны, с луком, с яблоками.

— Яблоки! Конечно, яблоки! И — руки, Евгения! Все, что проходит через твои руки, — вкусно. А коли говорить о хозяйстве — надёжно.

— Я для конюхов — «ротмистр в юбке», — Евгения Андреевна засмеялась, но не весело.

— Ну почему же ротмистр? Ты у нас — полный генерал. — Елизавета Львовна была довольна своей воспитанницей.

Бабушка совсем расцвела, когда пудель Фараон, скушав котлетку, подал голос: ещё одну!

Маленькая Машенька соскочила со стула и, взявши котлету, откусила немножко, а остальное — Фараону.

— Мария! — ахнула Евгения Андреевна. — Ты готова есть с твоим другом из одной тарелки.

— Но он же чистый! Он такой же, как мы!

— Машенька! Машенька! Поди ко мне! — Елизавета Львовна была тронута до слёз.

— Мама! — сказал Александр. — Я сегодня вольтажировал на Берендейке. Удивительно послушная, а как она идет! Плечом внутрь! По солнцу, против солнца!

— Ты успеваешь читать «Школу кавалерии»? — спросила Евгения Андреевна.

— Я прочитал!

— После завтрака поговорим.

Говорить об искусстве выездки для Александра — наслаждение.

Мама попросила рассказать о сути верховой езды по Гериньеру.

— Франсуа Робишон де ля Гериньер возглавлял с 1715 по 1730 год королевский манеж при Тюильри. Стиль его выездки вобрал в себя всё лучшее, что было у Плювинеля и версальских мастеров де ля Валле, до дю Плесси и его собственно учителя де Вандейля. — Александр упивается,

произнося имена героев французского манежа. За этими именами — совершенство конного дела.

— Я прошу не книгу пересказывать. — Брови Евгении Андреевны сошлись и перечеркнули лоб. — Точный вопрос — точный ответ. В чем суть школы Гериньера?

— Контргалоп, менка ног в воздухе, езда «плечами внутрь». Основной принцип школы — развивать лошадь естественными для нее упражнениями от лёгкого к сложному.

— Спасибо. Я довольна.

Но недоволен сын.

— Гериньер всегда на стороне лошади. «Непослушание происходит от непонимания лошады, что от неё требуется. Если всадник силой требует непонятное, возникает сопротивление».

Евгения Андреевна улыбнулась, поцеловала сына в макушку.

— Лето! Иди погуляй.

Сёстры в саду, с бабушкой. Никак на розы не наглядятся.

Александр выходит из имения, перебегает лужайку. И вот он — лес. В лесу — волк, но в лесу — тайна. Кто тот старец? Был ли он или пригрзилось?

ДВОРНЯ

Между лопаток холодок, но мальчик вступает в сумрак тесного от деревьев леса. Смотрит издали на кринуцу — никого.

Не отводя глаз от заветного места, пятками назад и что есть духу — на конюшню.

Ребята собираются по землянику. Час и другой ползают по высоким, по зелёным берегам Сулы, лакомятся, по-медвежьи урча от удовольствия. Потом купание до трёх посинений. И вот уж солнце земле поклонилось.

Возле амбаров отдыхают работники. Гутарят весёлое.

— Приходе мужик до пана, — рассказывает отец Нехаенка, — ввийшов у горныцо да-й став. А у пана був попугай, который тилько и умив казаты: «Дурак мужык!» Мужык усе йому кланяється, а дали и каже: «Звините, ваше благородиэ! Я не думав, що вы птыца».

У Гамаю своя история.

— Прыхав Грыцько у Москву и став бия дэ-воньци Великого Ивана да галки считает. На ту беду йде москаль: «Што ты, хохол, делаешь? — Галки считаю. — Как смеешь казённые галки считать? — Хиба ж воны справди казённи? — А ты, безмозглой, ы эвтаво не знал! Пойдем в польщю. — Да за що? — Как за що? За галки. — Да помилуйте! — Что тут с тобой толковать, пойдём! Не то за шыворот потащу! — Да помилуйте бо! Може, вам грошей треба? — А сколько ты галок насчитал? — Да усього тильки два десятка. — По гривне за штуку». Прыбиг Грыцько до своих, дай смиэться: «Оце одурыв москаля. Кажуть, шо москали не обдурыш. Я нащитав галок може сотни с две, а сказав йому тильки двадцять!»

— Старые у вас басни, — машет рукою Трохим Швачич. — Залётные историйки.

— А чего у тебя своего?

— Много чего. Хоть возьми Параську Скубу. Сломает лошадь ногу — веди к Параське. Две недели — и как новая. А Чубай? Никто уже не помнит Чубая... Вся Луциковка ему в ножки кланялась. Разбойный люд, ворьё — стороной нас обходили. У Чубая шапка была знаменитая. Ворона носил на шапке. Птица не больно нужная. Вороны не токмо цыпят — котят таскают. А Чубаю верно служили. Крадётся вор к хате ли, к клуне — глядь, вороны стаей, сетью. Кружат над злодеем, орут. Бери кол и беги, спасай нажитое.

Работники призадумываются. Солнце зашло... Земля потишала. И вдруг песня. Далёкая, но сладкая.

Дивки парубков кличут.

Работники поднимаются, идут сначала потихоньку, но дорога с горы, родная хата ближе, ближе. Размашисто шагают. За Сулою второй рекой нескончаемая песня. Одному слушать песни все равно что во сне летать.

Александр закрывает глаза. И вдруг — радостное:

— Слава Тебе, Господи! Матушка ваша в беспокойстве. Пора ужин подавать, а вас нет.

— Прости меня, Оксана!

Александр не смеет глаз поднять на бабушкину горничную. Оксана добрая, но такая красивая, что смотреть на нее стыдно.

От этого стыда голова пылает, хочется неприятного, жуткого, о чем нельзя думать словами, ибо оно — грех.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Н^Еехаенок снова увлёл паньча в Луциковку. Его старшие сестрицы Варя и Тоня в тени вишнёвых лоз готовили себе приданое — рушники расшивали. У Вари — цветы, у Тони — целая картина: «Несе Галя воду». Вышивали каждая своё, а пели едино и очень грустно. Пели о братце и сестрице. Злая мачеха гналась за несчастными детьми. И сестрица, не ведая иного спасения, превратила милого братца в цветок, сама обернулась горькою полынькой.

— Чего подсматриваете, подслушиваете, — спросила Тоня брата и паньча.

— Мы не подсматривали и не подслушивали! — оскорбился Александр. — Мы не хотели помешать вашей песне.

— Посмотри на них. Они и с лица голодные! — сказала Варя сестре. — Очумели от своих скачек.

— Я мигом! — Лёгкая как ветерок, Тоня отложила рушник, побежала в хату, вынесла паньчу и Хведе свежеиспечённый каравай хлеба, показала на вишню: — Вот вам и прикуска.

Хлеб, пахнувший печью, да с вишнями, да под девичьи взоры — на всю жизнь память.

Пришла от соседей Ганна Харлампиевна.

— Как вкусно едите!

— Принести, мамо? — спросила Тоня.

— Принеси.

И вот уже все вместе уписывали, баловали себя нежданной, но ко времени трапезой.

Ганна Харлампиевна глянула, как бережно кушает хлеб паньч, как он втягивает в себя хлебный дух, прикрывая от блаженства глаза, вдруг растревожилась:

— Александр Ксаверич! А у тебя впереди дороги уж такие дальние, что и не ведаю, за какие горы, за какие моря.

— Мы скоро в Петербург поедём, мне учиться пора, — сказал паньч.

— Не-ет! — покачала головой Ганна Харлампиевна. — Идти тебе за клубочком-то всю твою жизнь. Сначала — туда, где солнце в зените. По-

том уж на восход, на заход... А север тебя подпи- рать будет как стена.

— Ой, мамо! — встревожилась Варя. — Напугала паньча.

— Отнюдь, — сказал Александр недовольно. — Я не пугливый, а путешествия моя мечта.

— Мамо! — разбежалась глазами Тоня. — Скажи мне чего-нибудь!

Ганна Харлампиевна глянула на дочь из-под бровей, но тотчас рассмеялась.

— Чеснок под подушку клади! Уж больно сны-то у тебя...

У Тони запылала щёки, а потом и уши.

По дороге домой Александр остановился у церкви. Их церковь Покрова Божией Матери построена из вечного дуба.

Александр, глядя на высокий крест, поклонил- ся до земли: уж очень хотелось, чтоб слова Ганны Харлампиевны о клубочке исполнились.

КАЛЕТА

Ожидание вёсен с каждым новым годом оборачивалось неодолимой тоской, но счастье весны тоже превратилось в немочь. Глаза теперь хоть и бежали прочь от Оксаны, но уже знали, что в ней стыдного. Улучили-таки мгновенье впериться не в личико, на кото- ром очи как горлицы, а на яблоки груди, ис- кали между ногами... Глупость-то какая!

Хвёдор Нехаенок вдруг вымахал, обогнал бар- чука на голову. Он уже хаживал в толпе парубков вдоль да по Луциковке.

— Чего дома сидишь? Четырнадцать годков! К девкам пошли на посиделки, — сказал однажды другу-противнику. Обскакать барчу- ка на лошади Нехаенку и по сию пору удавалось уж так редко, что все свои победы помнил и мог рассказать о них подробнее, картина за картиной...

Посиделки в тот раз были в хате Христи Швачич. Её батька с матушкой, с малыми ре- бятами поехали в монастырь в Ахтырку, хо- зяйство оставили на Христю.

Стены в хате были сплошь цветы, вышитые её матушкой.

Девчата испекли «калету», густо намазали

мёдом и повесили на крючок для люльки, пос- реди горницы.

«Писарем» выбрали саму Христю. С кистью из мочала, с кринкою, наполненной разведён- ной сажей, стала она возле «калеты», и пошла весёлая игра.

Первым сел на ухват Нехаенок. «Подскакал» под самую калету. Хвать зубами, да нос поме- шал. Калета качнулась в сторону, мазнула Хвё- дора по щеке. Девчата — в хохот, пуше всех бар- чонок заливаются. Хвёдор повернулся к Александру, а калета его по уху. Хотел осерчать, да сам хохотнул, а смеяться нельзя. «Писарь» тотчас махнул кистью, и рот у Нехаенка стал от уха до уха. Под безудержный смех парубков и девчат бедолага щёлкнул зубами, да на то кале- та и круглая, чтоб не даваться простакам.

Александр скоро перестал веселиться — на Христю глядел.

Глаза у дивчины карие, в них вся печаль Луци- ковки, прошлая и будущая. Белизну лица высве- чивали тёмные, под цвет глаз, волосы и чёрные, дивным творцом писанные брови. Губы были неяркие, розовые — для улыбки.

Христя однако ж не улыбалась. Лицо у нее было испуганное, когда приходилось испол- нять «писарскую» работу. Зато как же она сме- ялась через мгновение.

У Александра пятки пристыли к земляному полу, когда пришёл его черёд отведать медо- вой калеты.

При подлом его росте он же будет посмеши- щем! Голубая кровь превратилась в жилах в пар, когда пришлось оседлать рогач.

— Давай, барчук! — подзадоривали парубки из старших, настоящие женихи.

Александр вдруг понял: прыгнуть, ухватить зубами, иначе говоря, победить — неместно ему перед работниками матушки, перед быв- шими крепостными Курсисов. Пошел под кале- тою кругами, чуть-чуть подпрыгивая, по- визгивая, вызывая смех, а у иных чувство не- ловкости за своего володетеля.

Поваляв дурака, Александр наконец сиганул вверх, ударился о калету макушкой. И тут уже был не смех, а стон, до изнеможения. Потом он толь- ко стоял, смотрел, задрал голову, на недостужи-

мое. И все увидели в нём лишь хлопчика, коему Господь не дал роста. Тогда он и прыгнул. Почти с места, но всем показалось: барчука пол подкинул. Александр, изумив честной народ, ухватил калету зубами сверху... Стоял, жевал откусанное, слизывал мёд кончиком языка с верхней губы.

– Гарно! – сказал за всех Нехаенок.

Стемнело. Ходили по Луциковке из конца в конец. И пели, пели...

*Не щебечы, соловейку,
На зори раненько,
Не щебечы, малюсенький,
Пид викном блызенько...*

*Плавай, плавай, лебедонько,
По сыньому морю,
Расты, расты, тополенько.
Все вгору та вгору...*

Ни, мамо, не можно нелюба любить...

Когда расходились по домам, Христа и Александр шли вместе, им по пути.

Возле своей хаты Христа сказала:

– Пошли спать со мной.

Они легли на сеновале. Александр был ни жив ни мёртв. Христа спросила:

– Что же ты меня не ласкаешь? Ласкать позволено.

Он погладил ее по щечке, но Христа взяла его руку и положила себе на грудь:

– Так дозволяется.

Она развязала шнурок на вороте, привела его руку под рубашку на бугорок. Показала, как надобно дотрагиваться до торчащего соска.

Ушёл Александр от коханочки, когда петух прокричал.

Брёл по сонной земле, по затаившемся средине темени мосту над переставшею течь Сулою. Сладко было, сил не осталось ни на что иное, как на сон.

Назавтра мучительная сладость ночи не ушла из него. Ему казалось, что все главное, ради чего дана жизнь, с ним уже произошло.

Он никого не хотел видеть, не хотел идти парубковать, чтоб все повторилось. Он даже к лошадям не шёл.

ПЛАТА ЗА СЛАДКИЙ СТЫД

Ночь летом немочна.

Свет за окном стоял растерянный. Одна заря не догорела, а другая уж изготовилась поджечь тучи на краю земли.

Александр не спал. Вдруг движение воздуха, шорох. Перед ним стояла Оксана.

– Тихо, барин! Возьмёшь с собой полежать?

Он задохнулся, а горничная уж сбросила с себя ночную длинную рубаху и стояла вся как есть, ожидая, когда он подвинется.

Александр закрыл лицо руками, но Оксана отвела его руки:

– Погляди, погляди! Я покуда, слава богу, молодая.

Она была нежна и терпелива. У него получилось. Но потом лежал отвернувшись, а она говорила ему понимаючи:

– Видишь, премудрость невелика. Зато сладко! Лучше этого смертным не дано. Не стыдись, от сего – род человеческий. Грех-то грех, да угодный Творцу. Спи! Завтра к тебе приду.

Утром Елизавета Львовна глядела на Александра весело и умно. Он все понял. Но противиться такому заговору не мог.

Оксана приходила к нему, покуда ей стало нельзя. Сказала:

– Потерпи денька три.

Александр снова появился на ипподроме. Устроили с Нехаенком очередные скачки, и Александр, уважая сам себя, допустил, чтоб их лошади пришли голова в голову.

– Поскачем ещё! – загорелся надеждой Хвёдор.

И они скакали. Из малой тучки просыпался дождь, сверкнула молния, тряснуло, будто берёзку сломали. Но Александр снова сумел привести свою лошадь вровень с лошадью Нехаенка.

– Чего гулять не приходишь? – спросил тот, мокрый от дождя и потный от радости. – Христа о тебе спрашивала.

– Приду, – пообещал Александр, а через час весть из Луциковки: дивчину молнией убило.

– Христа! – У Александра сердце оборвалось.

Убило Христю. Еще через день случился удар с Елизаветой Львовной.

Старую хозяйку имения похоронили.

Новая, не дожидаясь девятого дня, собрала своих птенцов и улетела с ними в Санкт-Петербург.

Всем, кто смотрел вопрошающе — что за спешка? — Евгения Андреевна объясняла со смирением:

— Мне надобно детей учить. Я дала слово Ксаверию Викентьевичу вывести Александра в генералы.

Александр мечтал о Петербурге, но ехал в новую жизнь раздавленный виною: всё, что случилось в Луциковке, — его грех.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕЧЕР

Рождественская улица, но, Господи, — девятая! Не дом — квартира в доме. Номер дома — тридцать девятый. Земля убрана под каменные плиты, под булыжник. Небо — прорехами между домами. Улица запружена повозками, экипажами, многолюдьем. Сверху из окна — передвижения людей такие же бессмысленные, как у муравьёв. Чего-то несут, чего-то везут. Все в спешке.

Постоянно дождь. Зонты не успевают закрываться.

Макушка лета, а воздух пахнет погребом, ветер сырой, плотный, чудится, его можно увидеть.

Но как удивительно прочитать в «Петербургском листке» объявление маленькими, обычными буквами: их императорские величества с их высочествами прибыли на Петергофский рейд в полдень на императорской яхте «Царевна».

— «Под брейд-вымпелом Государя императора!» — читает вслух с восторгом Александр.

Что такое брейд-вымпел — непонятно, другое замечательно. Царское семейство сегодня в Петергофе, а вчера было здесь, он и их высочества, их величества — жители одного города. В Петербурге тот же XIX век, что и в Луциковке, но всё здесь иное. Память о Луциковке, как гляденье в телескоп на звезду.

Да, здесь холодно, здесь постоянный дождь, бессмысленное многолюдье, но здесь за чудом не надобно ходить в тридевятое царство. Объявление:

«В императорском ботаническом саду цветков *Victoria regia* вновь распустится 23-го числа в 6 ч. вечера и будет цвести до 11 часов утра». Покупай билет, ступай и смотри. Вот еще. В Петербург прибыл бегун де Лятуш. Париж он обежал за 2 часа 15 минут. Посмотреть на его бег можно в Крестовском саду и на Царскосельском ипподроме, где спортсмен будет состязаться... с лошадыю!

Можно посмотреть на бухарцев. Приедут для поклонения Корану, смоченному кровью сыновей Али, зятя Магомета. Коран вывезли из Самарканда, теперь священная книга шиитов хранится в Императорской публичной библиотеке. Поезжай на Невский — и увидишь святыню своими глазами.

Александр не до смотрин — готовится к очередному экзамену.

Матушка и сёстры в церкви. Матушка хлопотала и добилась своего: Наталья и Машенька приняты в Смольный институт.

Сегодня семья Булатовичей проведет под одной крышей последний вечер.

Впереди у сестриц строгие классные дамы, долгие годы жизни по уставу и, возможно, после завершения пансиона — служба во дворце. Фрейлинами.

А вот он, Александр Ксаверьевич Булатович, единственный мужчина их рода, свое будущее уже чуть было не загубил. На экзамене по географии. Не знал, где Гиндукуш. И с арабами запутался. Вроде бы все арабы — азиаты. Берберов пустился искать на Аравийском полуострове. Не нашел. А потом не нашёл Магриб.

— Вы совершенно не знаете карты! — нехорошо изумился экзаменатор.

Александра спасло отчаянье. Возразил:

— Я знаю карту! Вот вершина Буагит. Высота 4510 метров над уровнем моря. Вот Лалибала, 4197 метров. Коло — 4300... Озеро Тан, озеро Морга.

Указка прошлась по Абиссинии, и географ еще раз изумился:

— Вы хорошо знаете то, что мало известно даже специалистам.

Долгим взглядом смерил юношу и выставил балл. Низкий, но проходной.

Осталось еще одно испытание — и судьба будет решена. Лицей и Петербург или Луциковка и скачки с Нехаенком — кто кого.

В прихожей — звонок, прислуга открыла дверь: пришли из церкви Евгения Андреевна и сестрицы.

Ужин суровый. В тарелках по две корюшки. Рыба невская, вкусная, но уж очень стройная. Не еда — отведавьянье.

В жестокой экономии повинен он сам. Учёба в приготовительном классе стоит 800 рублей серебром.

Надо поступить, а потом уж хлопотать. Сына генерала могут взять на казённый кошт.

К чаю — французская булка и сахар. Александр положил два куска, три, четыре... Чрезмерно сладко, но сытнее.

Лампы они не зажигали.

Белая ночь, безучастная ко всему, не дает ни света, ни тени... Хотелось заплакать, но день-то счастливый.

Устроены сёстры. Замечательно устроены. Уже завтра они увидят императрицу-мать и, бог даст, будут отвечать на вопросы ее величества.

А вот что станется с мужчинами Булатовичами?

Взбадривал себя насмешкой, но было страшно после казуса с географией. У матушки глаза кроткие, да сердце пронзительное.

— Я верю в Александра! — сказала Евгения Андреевна просто и весело. — Когда до родов оставались считанные дни, я заболела холерой. Эпидемия была ужасная. Вымирили целые деревни... Господь сохранил мне жизнь ради тебя, Саша. Ты нужен Господу.

Александр беззаботно взмахнул рукой:

— Матушка, если я сдам экзамен, ты купишь билет на джигитовку?

— С превеликим удовольствием! Мне тоже интересно посмотреть на петербургских скакунов.

Поднялась с кушетки, подошла к столику, на котором прежний хозяин квартиры оставил глобус. Взяла земной шар в ладони. Лицо весёлое и не знающие смеха глаза.

— Я дала вам жизнь, дети мои. А жизнь — это Луциковка, это Петербург, это земной шар. Где вы — там и моя жизнь. Загадывать не станем.

Примите! Пусть он будет вашим родным домом, этот шарик. Одно не забывайте: ваша крепость — Луциковка. Она примет вас, как бы высоко вы ни поднялись, как бы низко ни пали.

Взяла Александра за руку, посадила к сестрам на кушетку, села сама, обняв сына и дочерей:

— Споёмте наше.

Запели совсем тихонечко:

*Мисяц на неби с зирками грае,
Тихо по речке човен плыве...*

Белая ночь придвинулась к окнам, разглядывала поющих и, кажется, сама готова была подпеть. По-украински не знала.

ДЖИГИТОВКА

Экзамен, страшный, потому что последний, принёс высший балл. Матушка Евгения Андреевна с великой радостью повела своего лицеиста на обещанную джигитовку.

Джигитовкой Собственного Его Величества Конвоя император Александр III тешил великого герцога Гессенского.

Зрители рассаживались с вольготной медлительностью, а у Евгении Андреевны уже щёки пылали от возбуждения.

Александр раз и другой вскинул глаза на матушку, и она, взявши его за руку, шептала над его головой почти без голоса, но рука руке говорила куда громче:

— Запомни, Булатович! Здесь все, и даже те, — не указала на царскую ложу, но он понял, о ком это, — люди твоего круга. Ты здесь не последний.

Александр знал, каково дались матушке хождения по приёмным генералов и великих княгинь. Булатовичи и впрямь не последние, если Наталья и Маша — в Смольном, а сам он — воспитанник приготовительного класса Александровского лицея.

— Мама!

Она благодарно прикрыла глаза ресницами, и тут гаркнул командир Конвоя полковник Ивашкин-Потапов:

— Во фронт!

Будто в сказке, когда нужно выбрать суженого. Конвой развернулся фронтом, и лица казаков были как одно лицо. На кого ни посмотри — сокол. Чёрные папахи, красные кафтаны, в газырях горят золотом патроны. Ничего удивительного, если и впрямь золотые. В руках — винтовки, на поясах — кинжалы.

Конвой отдал честь герцогу, и тотчас пропела труба, так чисто, будто ангел с Петропавловского шпиля протрубил.

В единый миг всадники превратились в огненную стихию. Справа по одному, пламеня, мчались друг за другом, и вот уже с безумной скоростью перед зрителями — вращающееся живое алое колесо. Свист нагаек, молодецкий гик и чудо наезднического искусства.

— Мама! Мама! — закричал Александр в восторге.

Каждый казак удивлял по-своему. Кто-то стоял на крупе лошади в рост, кто-то нырял под брюхо и садился в седло с другой стороны. Проскакал казачина, стоя в седле... на голове. За ним — четверо, повиснув на стремянах, папахами чуть не до земли.

Засверкали шашки, казаки мчались по двое, фехтуя. И тут пошло представление. Двое казаков явились перед публикой в белых балахонах, в парандже — стало быть, женщины. Разогнавшись, чубатый подхватил на всём скаку одну из них, положил поперёк седла, умчал. Другая поймала лошадь, пыталась уйти. За ней погнались трое. Двое в седлах, третий стоял на крупах обоих лошадей и крутил над головами арканом. Погоня ближе, ближе, но вдруг «турчанка» нырнула под брюхо и, загораживаясь лошадьё, пальнула с двух рук из пистолетов.

Короткая передышка. И, удивляя герцога и зрителей, казаки разыграли боевую сценку.

Взвод казаков медленным шагом прошёл перед трибуной. Негромкий сигнал, лошади как одна легли, казаки прильнули к лошадям — отряд слился с землёй.

— Засада! — объяснил Александр матушке, и верно — это была засада.

Не чужая опасности, мчался, красуясь, полуэскадрон неприятеля. До столкновения — десяток сажень. И — пронзительный свист! Залп! В

мгновение ока казаки с лошадьми выросли из-под земли, и неприятель бежал.

Снова закрутилось алое колесо. Конвой Его Величества построился в колонну и с песней рысью проскакал перед великим герцогом и трибунами.

Александр будто к скамье прирос.

— Саша! Всё кончилось! — У Евгении Андреевны глаза сияли. — Тебе понравилось?

— Мама! Я буду среди лучших в лицее, а потом определюсь в кавалерию.

Вдова генерала Ксаверия Булатовича не поспешила с протестом.

— Как бог даст. Впереди семь лет трудов и возмужания.

ЛИЦЕИСТ

Он чувствовал на себе мундир не прикосновением ворота к шее и обшлагов к запястьям рук. Ему не теснило плечи, его не стискивали полы, застёгнутые на все пуговицы. Здесь было иное: держава, Российская империя облекла его в самое себя. Он перестал быть маминым, перестал быть отроком из никому не ведомой Луциковки, даже Боговым он перестал быть. Он — империя, благословенная Вседержителем, и еще — лицеист; свой Пушкину, свой канцлеру Горчакову, свой Глинке. Он — плоть мысли Александра Благословенного, создателя лицея. Пусть приготовишка, но тёзка царя!

И холодел, вспоминая ужас приёмного экзамена по географии. Господь Бог не оставил.

Приготовительные классы размещены в двухэтажном флигеле, ближе к Большой Монетной улице. Но церковь — в главном корпусе, на третьем этаже.

Благодарственный молебен — благословение началу занятий — через час.

У воспитанников свободное время для радости встречи после каникул, новичкам приготовительного класса позволено прикоснуться к душе лицея. У кого как получится. Классный наставник, отпуская детей, сказал:

— Главное правило доброй методы учения в лицее состоит в том, чтоб не затемнять ум детей пространными изъяснениями, но!.. — и просиял

глазами воспитанникам. — Но! Возбуждать собственное действие ума. Ступайте, смотрите и слушайте, что скажет вам ваше сердце.

Александр начал вживание в лицейский мир с храма.

Стоял, смотрел на иконостас, благодарный Богу за свою долю. Лицеист!

И вдруг показалось: Христос с иконы приблизил к нему Лик, словно всмотрелся.

Пасть бы на колени! Не посмел. Посмешищем станешь. Перекрестился, чувствуя себя несчастным. Променял Бога на угождение товарищам. Был так близко к Господу — и отшатнулся. Предал.

Огорчённый, вышел на улицу. Здание лица большое, в четыре этажа, но это не дворец, не палаты важного чиновного дома. Правда, построен не из кирпича, из сердобольского гранита... Герб. На гербе девиз: «Для общей пользы». Здесь помещался сиротский приют. Сорок лет тому назад приют перевели на Мойку, в дом Разумовского, а сюда переехал из Царского Села уже не Царскосельский, но Александровский лицей.

Булатович прочитал адрес:

— Каменноостровский проспект, 21.

Огромные окна огромного дома глядели поверх головы, не замечая нового ученика.

Александр чувствовал: что-то дрожит внутри. Стараясь забыться, обежал лицей и очутился в берёзовой аллее.

Замер, поражённый. В Луциковке лес тёмный, деревья тёмные... А здесь, где небо редкость, — тучи, серый дождь, — свет без солнца, но свет!

Свет стоял в аллее, и он вошёл в этот свет и замер, увидев Пушкина. Пусть памятник, но это был Пушкин.

Сердцем рассказал о том, что случилось в церкви. И смутился. Конечно, показалось! Голова кружится от новизны. Но ведь не потолок придвинулся... Тайна и радость переполняли грудь. Александр чуть поклонился Александру и побежал к своему классу: на людях — ни дум, ни мечтаний.

Сразу опомнился: не с Нехаенком вперегонки бежит. Прилично ли бегать в мундире? Пошёл, развернув плечи, вытягивая ногу в носке. И тут ступня подвернулась. Да так резко, так больно.

Захромал. И увидел перед собой человека, тоже в мундире и с озабоченным лицом.

— Обувь тесна! Намин!

— Я оступился, — сказал Александр, вытягиваясь.

— Если что — сразу ко мне. Аз — смотритель и мозольный оператор Илья Денисович Васильев.

— Булатович! Учащийся приготовительного класса.

— Поздравляю с поступлением. С Богом!

У человека глаза были добрейшие.

Забыв, что лицеисту бегать неприлично, Александр помчался в свой корпус, чтоб идти строем на молебен.

Но сначала была переключка. Наставник называл фамилию, и ученик вставал.

— Агренев.

— Я.

— Андреев.

— Я.

— Баралевский... Бекман... Булатович.

— Я! — и ужаснулся: уж очень звонко, уж очень радостно, но наставник одобрил:

— Молодец, Булатович! Сегодня для каждого из вас, причисленных к имени лицеиста, великий праздник. Выпускники нашего лица — творцы истории Государства Российского. Вы — сотоварищи Пушкину.

— Воронов! Зеленой!

— Я! Я! — подражая Булатовичу, не сумевшему скрыть своего восторга, называли себя ученики приготовительного класса.

— Княжевич! Фон Круг! Фон Лилиенфельд-Тоаль! Мечников, Молостов, Мусин-Пушкин, Паттон, Пейкер, Повержо, Розалион-Сошальский, Савинский, Стурт, Толстой, Устинов, Хрипунов, Яхонтов.

Их было двадцать три, будущих творцов истории России.

Соседом Булатовича по парте оказался Княжевич.

Когда шли на молебен, Княжевич спросил:

— Ты слышал о неподражаемом цейлонском фокусе?

— Не слышал. — Александр удивился вопросу: шли молиться.

— Вот уж чудо! — Княжевич даже глаза выта-

рашил. — Представляешь! Факир закопал при всём честном народе в землю косточку манго, накрыл мешком, потёр мешок пяткой. И что же ты думал? В мгновение ока из земли поднялось деревце с двумя листочками. Факир накрывал деревце несколько раз, и оно стало большим деревом, отяжелённым плодами. Один зритель сорвал плод — и дерево исчезло.

— Это было на самом деле?

— Цейлон, мой друг! Для нас диковинные страны — география, а для тех, кто в них обитает, обычная жизнь... Вернёмся в класс, я покажу тебе петербургское чудо.

Но после молебна они сразу попали на урок. Их учёба началась с истории. Лекцией профессора Василия Васильевича Бауэра.

Княжевич слушал плохо, ему не терпелось показать соседу по парте петербургское чудо.

Наконец урок закончился. Показал клочок газеты. Текст в виде женской фигуры.

— Читай! — потребовал Княжевич.

— «Серенада».

— Стихи читай.

Пришлось прочитать.

*Заливается где-то вдали соловей,
Ненаглядный мой друг, выходи поскорей.
Вся, объятая чудной истомой,
Безотчётным желаньем и дрёмой,
Как вакханка ночью порой,
Жду тебя, дорогой.
Выходи, побалую,
Обниму, зацелую.
Час свиданья,
Миг лобзанья,
Сердце вновь
Про любовь
Говорит.
Кровь горит!
Щёки рдеют,
Чувства зреют.
Я хочу мир забыть
И фиал весь испить,
Снизойду, снизойду, Афродита.
Вся цветами живыми повита.
Я хочу испытать силу чар неземных,
Утонуть я хочу в свиденьях златых.*

Княжевич смеялся, сияя глазами.

— Вот наше петербургское чудо.

— Всё это глупости, — сказал Зелено́й, разглядывая «Серенаду» из-за спин сидящих на первой парте, — бумагомарание... Извините, я слышал ваш разговор о факире. В России чуда инаго свойства и размаха. Слышали о крестьянине Сурге?

— Нет! — сказали Княжевич и Булатович.

— Это произошло в Нижегородской губернии. Крестьянин на постоялом дворе, расплачиваясь, достал толстую пачку денег. За ним погнались хозяин постоялого двора и ещё десятеро мужиков. Догнали. Сург, недолго думая, соскочил с телеги, вырвал оглоблю. Семерых уложил, остальные бежали.

— Да, это русское чудо! — согласился Княжевич.

— У нас на Украине все люди добрые, — сказал Булатович. — Разбойники в Луциковке в овраге жили, но в старые времена.

— Мужики до поры тихони, — не согласился Княжевич.

— Я уверен в одном! — У Зелено́го в лице явилась твёрдость. — Мужики любят царя природною любовью.

Муж тётки Зелено́го, столбовой дворянин, несколько лет работал кузнецом, поднимал деревню на самодержца. Не преуспел. Самому пришлось стрелять в помазанника, в Александра Николаевича. Господь Бог не оставил великого государя — дворянин-террорист стрелял несколько раз, чуть ли не в упор, и промахнулся. Безумца повесили, а дядю Зелено́го выгнали из министров.

Об этом Булатович узнает много лет спустя, во времена иные.

В свободный час от всех петербургских чудес и петербургского столичного ума прибежал в берёзовую аллею, к Пушкину. И суета отстала.

ПРИВЫКАНИЕ К ЛИЦЕЮ

Лицеист Булатович проснулся, должно быть, первым в их дортуаре. Уже светло, но свет просачивается в окна стеснительно: жалко будить приготовишек.

Александр потянул себя пятками, хорошее упражнение для роста. Потянул, потянул... И увидел на потолке абрис — Господи! Пушкина! Затаил дыхание. Игра полутеней, игра воображения... Но ведь так явственно.

И — подъём. Шесть часов.

Булатович первым умылся, первым оделся. Первым стоял перед иконами.

Утренняя молитва, как иордань света. Сердце открыто. Господи! Благослови день грядущий.

После молитвы — час на повторение уроков, но Булатович уроки приготовил вчера.

— Стихи? С утра? — изумился Княжевич, заглядывая в книгу одноклассника.

— Это наш, — шепнул Александр, — лицеист.

— Пушкин?

— Мей.

Александр охватывает голову руками, чтоб не мешали.

Стихи Мея, будто дверь в желанный, недоступный мир.

Таких чудес не слышано доньше:

*Днём — облако, а ночью — столп огня,
Вслед за собой толпу несметную маня,
Несутся над песком зыбучим по пустыне,
И, Богом вдохновлен, маститый вождь ведёт
В обетованный край свой избранный народ.*

Александр уплыл. Перед глазами барханы. Куда ни посмотри — барханы — волны песчаного океана. На бархане библейский вождь. Впереди — столп огня, соединяющий небо и землю.

В минувшее дороги нет, но пустыни-то остались. Караван бедуина в этот вот миг одолевает Сахару. Всё это можно видеть. Можно быть в этом караване...

Александр перевернул несколько страниц:

Ох, холодно! Жаль, градусника нету...

А у меня с заутрени мороз

На стёкла набросал гирлянды белых роз,

И все — одна в одну, как есть по трафарету...

И все — одна в одну — под небом голубым,

Все трубы в небеса стремят

посильный дым...

Это уж о Петербурге. Никуда не надо ехать. А кто-то ведь мечтает попасть сюда, к трафаретным розам зимы, под голубые небеса со столбами дыма...

Поменяться бы.

И вдруг подумал — грех! Грех кому-то завидовать, мечтать о другом... Их ведь двадцать три счастливица, получивших мундиры лицея. Всего двадцать три из множества тысяч.

Восемь часов. Звонок позвал в классы.

Ужасно хочется есть, но голова работает с чудесной ясностью. Два урока, и наконец завтрак. На сытый желудок обязательная прогулка. Здоровье прежде всего. С Невы вольный, пахнувший большой водой ветер. Увы! Дышать пришлось табаком. Куревом угостил Зеленой.

— «Фародей» — отличный турецкий табак. Десять штук — шесть копеек. Если купить коробку за шестьдесят — сто папирос — получишь предсказание.

Княжевич — опытный курильщик. Затянулся, пустил дым носом.

— Отменный табак.

В запахе дыма что-то взрослое, мужское. Булатович тоже сделал затяжку, силой воли подавил кашель.

— Ты какие куришь? — спросил Александра Зеленой.

— Это моя первая папироса. — И увидел уважение в глазах одноклассников. Не соврал. — Люльку, впрочем, брал в зубы.

— Люльку? — удивился Княжевич.

— Казаки люльки курят. Трубки.

— Между прочим, Мей этот самый был приживалой у графа Кушелева-Безбородко, лицейского своего товарища, сам не достиг ровно ничего. Высший взлёт — инспектор гимназий. Как большинство сочинителей — горький пьяница.

— Лев Александрович — автор «Царской невесты», автор «Псковитянки».

— Ты говоришь — автор, будто это одно и то же, что сенатор, светлейший...

Княжевич и Зеленой рассмеялись. Александр помрачнел, понял: на нём тот же мундир, но он другой.

— На урок опоздаем.

...Занятия. Ещё одна короткая прогулка —

ещё одна папироса. И снова — за столы, приготовление уроков.

В час — обед. В два часа — уроки чистописания и рисования.

С трёх до пяти — классы.

В пять — отдых. Полдник. Занятия гимнастикой.

В восемь вечера ужин. Зубрёжка уроков. Молитва на сон грядущий. В десять — отбой.

Перед сном не до разговоров. В четырнадцать лет начинать жизнь с шести часов утра — мучение. Пока не привыкнешь.

У сына генерала дисциплина в крови, а дарования — от Бога, от мамы.

И вот уже на белой доске поощрений золотыми буквами — Булатович.

Строка последняя, но это потому, что младший.

Порядки в лицее строжайшие. С этажа на этаж и во флигель подготовительного класса могут ходить только первоклассники. Старшие. Лицей первого класса может остановить любого и не только сделать замечание, но даже наказать.

Пуговицы должны быть застёгнуты, и сам ты должен быть застёгнут. Разгильдяй на службе — государству — бедствие.

И никто, никто не знал и никогда не заметил непорядок в мундире Александра Булатовича. А непорядок имел место быть.

УБИТЫЙ ДЕНЬ

Год в подготовительном классе был прожит как во сне. И вот — шестиклассник, полный лицеист. Счёт классам в лицее обратный. Младшие живут и учатся под крышей, на четвёртом надстроенном этаже. На этаж два года.

Четвёртый и третий классы возле церкви — на третьем. Второй и первый по обеим сторонам Пушкинского зала — на втором. На первом — квартира и кабинет Николая Николаевича Гартмана, директора лицея.

Бродить по этажам строжайше запрещено. Быть где заблагорассудится позволено единственно первому классу.

Ограниченное пространство выстраивает отроческую стаю по ранжиру подчинения, и

всё-таки роднит. Саша Булатович по успеваемости шёл первым, за независимость мог жизнью заплатить, но верховодить его натуре было противно. Всем — друг, он умудрялся хранить одиночество.

Лицей, однако ж, не монастырь, отзвуки, ответы жизни высшего света проникали сквозь стены лицея и даже иных волновали.

Шестиклассников поразила необыкновенный заклад между инкогнито, человеком на верняка сиятельным и богатым, и заморской львицей Адель.

Гостя Санкт-Петербурга получила от обожателя пять тысяч рублей с обязательством прожить эти огромные деньги за пять дней. Именно прожить. Покупать что-либо воспрещалось.

Выигрыш давал миссис Адели пятьдесят тысяч, проигрыш грозил потерей свободы на полгода, должна ехать с богачом в его деревню.

Шарман! Все подсчитывали, в каком ресторане можно потратить наибольшие суммы. Прикидывали возможности женщины в питье шампанского. Вспомнили о купаниях в шампанском! Одно купание стоит ого-го! А пять купаний?!

Чем кончилось дело, Булатович не узнал. Умерла Наталья. Брюшной тиф. В Смольном! В Смольном — царица, фрейлины, лучшие лекари, в церкви — иконы с мощами!

Саша любил старшую сестру как маму, как Машу, как себя самого. Но Господи! Жили в одном доме и так мало были друг с другом. В последний-то год виделись на Пасху, похристосовались, вспомнили писанки, какие им дарили в Луциковке дворовые люди... Всегда верилось, все они, родные люди, «потом» будут вместе. Ах, этот «потом» — лжец из лжецов! Надо жить нынче, когда все вместе, когда семья. Надо любить друг друга сегодня, когда Бог даёт. Не к Нехаенку бежать бы сломя голову, а прийти к сестрицам, посидеть с ними...

Половину белого света отсекала смерть Натальи. Жил среди ужаса. Как же всё ненадёжно в мире, как всё хрупко, как жестоко!

Когда хоронили сестрицу, Саша подал милостыню нищему. В кармане было две монеты, пятак и рубль. Достал рубль, рука дрогнула, но отдал.

Нищий улыбнулся и протянул лицеисту... пуговицу.

– За твоё бескорыстие. За твою твёрдость в добром.

Пуговицу Саша рассмотрел много позже. Забыл о подарке.

Пуговица по величине и цвету точь-в-точь казённая, но это была икона Иисуса Христа.

Ночью Саша пришёл дарёную пуговицу на мундир, вместо положенной. А уже утром, на первом уроке, учитель тригонометрии и геодезии капитан 1-го ранга Леонтий Федотович Леонов вызвал Булатовича решать уравнение у доски. Задание домашнее, но никто уравнение не решил.

Вглядываясь в головоломный ряд знаков, букв, чисел, Александр взялся за икону-пуговицу: «Господи, не оставь!» И как же это? Увидел суть начертанного! Мел так и щёлкал по доске.

– Превосходно! – воскликнул капитан 1-го ранга, и Булатович неожиданно-негаданно стал любимцем главного геодезиста лицея. Госпожа Геодезия выбор педагога сочла правильным и отныне благоволила к воспитаннику.

Непорядка в мундире никто так и не увидел.

Однажды Александра остановил первоклассник.

– Фамилия?

– Булатович.

– Почему вы не у себя, на четвёртом? – глаза как у надзирателя, губы тонкие, беспощадные.

Саша невольно взялся за дарёную пуговицу.

– Я иду поставить свечу.

– Для этого существуют часы службы.

Второй первоклассник прочёл назидание:

– Надо не свечи ставить, а уроки учить... Ну-ка, голубчик, скажи нам: что это такое – ладан?

– Вещество для каждения. Смола.

– Смола чего? Сосны, можжевельника?

– Восточная...

– Верно, встречается на Кипре, на Аравийском полуострове, но в основном все-таки в Африке. Запомни: ладан – смола дерева босвеллии... А теперь – кругом!

– Я должен поставить свечу. Господь взял к Себе мою сестру.

Первоклассники смутились.

– Приносим извинения...

Сами исполнили команду – кругом и марш.

Пуговица хранила, утрата затягивалась, так рабы затягиваются, – розовой кожей.

И вдруг – разрыв, боль, страх.

Уже весна пришла. Небо над Петербургом было редко синее.

Скоро Пасха. Воскрешение. И радость к радости: его высочество великий князь Николай Михайлович пожаловал картину художника Наумова на пушкинскую тему для Пушкинского зала.

Торжественный акт. Мундиры, речи, с полотно сдёргивают занавес, и будто пуля – в сердце: убитый Пушкин. Дуэль. Выстрелы отгремели. И всех, кто был там тогда и сегодня, присутствующих здесь, поразила тишина.

Булатович достоял церемонию, зажмурил глаза: убитый Пушкин, убитый синий редкостный весенний день.

ТАНЦЫ, СТРЕЛЬБА, МАНЕЖ

Из всей учебной программы Александр Булатович не выносил только одного предмета – танцев.

Танцы преподавал артист Тимофей Алексеевич Стуколин.

Лёгкий, пластичный Булатович сразу же приглянулся учителю, но получил упрямый необъяснимый отпор.

Учиться танцевать лицеист Булатович не хотел. Впрочем, всё, что полагалось, повторял, деревянный, отсутствующий. Когда умерла сестра Наталья, Александр отказался даже присутствовать на уроках Стуколина. Одноклассники рассказали учителю о несчастье, и тот, добрый человек, стал пособником нарушителя дисциплины.

Случилось, встретились лицо к лицу. Учитель танцев спросил строптивца:

– Чем я вам неприятен, Булатович? Вы талантливо от Бога. Вы будете украшением балов!

Лицо Александра стало белым. Закусив губу, взрослеющий мальчик смотрел перед собой. Глаза упирались в грудь красавцу актёру.

– Ну, ничего, ничего! – сказал Стуколин, краснея.

Булатович, как фарфоровая статуэтка, но уж очень миниатюрная.

Учитель пошёл было, но вернулся, наклонился к уху:

— Друг мой! Пушкин был ниже Натали на голову. Он был ниже Керн и прочих, прочих, но желанен!

Александрю показалось, волосы на голове горят: его тайна тайн, его мука мученическая — известна.

Стуколин довершил-таки разговор:

— Все бабы будут твои. Лишь только пожелай.

От всех бед, от всех душевных терзаний лучшее лекарство — учёба.

Булатович — первый математик класса, стал блистать на уроках Вячеслава Измайловича Срезневского. Сын великого слависта Измаила Ивановича в лицее преподавал русский язык, но знаменит был в совершенно новом деле. Основал при Русском техническом обществе фотографический отдел, изобрёл несколько фотоаппаратов и походную портативную аппарат-лабораторию.

Булатович и в фотографии преуспел, но счастлив он был только на манеже.

Лошади, даже самые норовистые, не терпящие узды, тянулись к нему, будто за родню признавали.

Учителя менялись, но все разговаривали с Булатовичем как с равным. Он мог объяснить разницу школы неаполитанца Пигнателли и француза Плювинеля, учителя Людовика XIII. Он мог сказать ударившему лошадь: «Не будьте де ла Бруэ». И приговаривал, когда его товарищи кости скакунов за собственное неумение: «Лучше добром, чем злостью». Не я придумал — это заповедь Плювинеля.

Мог и Ксенофонта напомнить:

— Искусство верховой езды — благодарность и наказание. Но о втором лучше забыть.

Послушать беседу о лошадях капитана Огаркова — преподавателя гимнастики, участника офицерских скачек и лицеиста Булатовича было в удовольствие всему классу.

— Приходилось ли вам, молодой человек, слышать о любимце Москвы — рысаке-рекордисте по кличке Бычок? — спрашивал капитан.

— Три версты за пять минут сорок пять секунд, — тотчас припоминал Саша.

— На дрожках! По песку! Тащить-то приходилось хомутом, и всё-таки меньше двух минут на версту. А ведь это в 1824 году! Об американках, о пневматике Россия знать не знала.

— Но уже в двадцать пятом Лебедь побил Бычка, — ронял Булатович.

— На секунду! Но кто был наездником! Сидор Васильев! Сидор Васильев для лошадиного бега всё равно что Суворов во время похода через Альпы.

— Лебедя побили Похвальный — пять сорок одна с половиной, Могучий — пять сорок одна ровно, Степенный — пять тридцать девять с половиной.

— Булатович! Ты — лошадиная энциклопедия! — кричал в восторге Зелено́й.

— Я знаю то, что люблю, — Саша не улыбался. Лицо у него было удивительно чистое, глазами глядел в глаза, строгие брови, строгий правильный овал щёк, строго, чётко очерченный подбородок.

Однажды после урока выездки Мусин-Пушкин объявил:

— Господа! Сегодня вечером вокруг Зимнего дворца будет гореть электричество! Ура, господа!

Смотреть чудо XIX века ходили всем лицеем. Первое электричество Петербурга отодвинуло ночь от стен царского дворца, высветило от подошвы до ангела Александрийскую колонну.

Это было 14 ноября 1886 года.

Через несколько дней ещё одно чудо. На левой стороне Невского проспекта, на несолнечной, разом треснули стёкла газовых фонарей. Не выдержали жара рожков с двойными горелками.

Ходили смотреть. По дороге в лицей Булатович показал Зелено́му афишу на городской Думе: «Первого декабря в Большом зале лекция путешественника Миклухи-Маклая».

Признался:

— Единственному человеку в Петербурге, в России и в целом мире завидую!

— Его же чуть было не съели! — Зелено́й шутовски сделал страшные глаза.

— Об этом нельзя смеяться! — голос у Саши

дрожал. — Бог открыл Миклухо-Маклаю малую часть Своего Творения, но эта малая часть свидетельствует о неохватности жизни! Пойми, Зеленый, там, где был Миклухо-Маклай, наше XIX столетие — иное.

— Чудес нынче много! — пожал плечами одноклассник. — Ты читал об опыте французского медика Лиежуе? В октябре 1885 года этот тип внушил подопытному прийти к нему в кабинет 12 октября 1886 года. И тот пришёл. Я сам читал в «Петербургском листке». А что касается путешествий... Наш лицей готовит дипломатов. Можно получить службу в посольствах Италии, Англии, той же Франции.

Булатович промолчал: ему хотелось в края дальние, неведомые.

ГАУПТВАХТА

— **О** эти русские! — только и сказал полковник Робер Гавеман, резко отворачиваясь от воспитанника Булатовича.

— Да! Русские! Русские! — закричал в спину полковника шестиклассник.

— Всё образуется, — утешил Виктор Филиппович Фёдоров, помощник главного учителя фехтования. — Уж очень вы горяч, дружочек! Кипяток!

Александр, лучший рапирист лицея, за полминуты «боя» позволил «заколоть» себя десять раз.

— Кремень знаете? — спросил Виктор Филиппович.

— Знаю.

— Это один из самых крепких камней. Весьма холодный, но из него-то и высекают огонь. Так и в нашем деле.

Товарищи удивлялись странному характеру одноклассника: где не в меру горяч, а где до обалдения хладнокровен.

Умудрился рассердить невозмутимейшего полковника Пороховникова. Полковник преподавал рисование и черчение. Тут Булатович был среди первых, но полковник давал ещё уроки стрельбы.

Получив карабин, Александр так долго выцеливал, что Пороховников потерял терпение.

— Вы муху собираетесь подстрелить? Перед ва-

ми слон! — и поставил самую крупную мишень. Промануться невозможно!

Долгие секунды тишины, и наконец выстрел. Пуля легла в самый центр мишени. Александр так и пронзил преподавателя глазами.

— Ранить слона — обречь себя на смерть. Я убил его, — громко сказал.

Перед ужином воспитатель шестого класса Александр Карлович Лемм жирно написал на чёрной доске фамилию «Булатович». С белой для всего лицея золотом сияла та же самая фамилия.

Александр остановился перед дверьми в столовую. Попадавшие на чёрную доску — изгой, их место за столом унижения, в коридоре. Не зная за собой вины, Булатович сел за непокрытый стол, взял в руки вилку и нож.

Лемм изумлённо вскинул брови.

— Ваше место, Булатович, не здесь! Вас проводят.

Появился надзиратель. Значит, гауптвахта. Пошёл за своим тюремщиком не протестуя, не задавая вопросов.

— Воспитанник Булатович! Вы и теперь дерзите! — Лицо у Лемма окаменелое, но было видно, воспитатель в бешенстве. — Вы, оказывается, знаете свои «заслуги»?

— Никак нет!

— Дерзость, Булатович! Дерзость в самой пагубной степени. Вас слишком много перед уважаемыми людьми в больших чинах.

Александр улыбнулся — упаси господи! — не за ради непокорства. Представил себе, как, сидя на гауптвахте на хлебе и воде, умалится до размеров мыши.

— Трое суток, — сказал воспитатель Лемм, стон возмущения звенел в его безжизненном от правильности голосе.

Сам Николай Николаевич Гарднер, директор лицея, не раз просил воспитателя шестого класса быть с детьми помягче.

Увы! Надворный советник Лемм был рабом собственной педагогической методы:

— Я ломаю характер моих питомцев ради их будущего. Большому кораблю — большое плаванье. Всё случайное, всё доморощенное — вон из трюмов.

Гауптвахта — пустая комната пеналом. Окно

почти у потолка. Возле стены — лавка. Ни оде-
 яла, ни дерюги. Вместо подушки в изголовье
 стопка потрёпанных книжек.

Александр взял ту, что сверху: граф Лев
 Толстой.

ИСТИНА

Тюрьма. От сумы и от тюрьмы не заре-
 кайтесь.

Сел на лавку. Как шёлк. Поколения прови-
 нившихся шлифовали.

Подошёл под окно. Прочитал «Отче наш». Свету прочитал. Без прошений. О чём просить Господа, если на тебе нет вины.

Снова взял книгу, что лежала сверху.

«Я был крещён и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с детства и всё время моего отрочества и юности. Но когда я восемнадцати лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили».

Читал, заглушал обиду и сразу понял: читает обидевшегося. Вот только на что?

«Отпадение моё от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего образования... Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных, считающих себя очень важными».

Перед глазами встало лошадиное лицо госпо-
 дина Лемма. Впрочем, Александр Карлович ско-
 рее всего лютеранин...

Ужаснулся откровению в конце первой главы о желании совершенствования: «Не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми».

Толстовская правда от абзаца к абзацу стегала, как розга, да не по телу, по душе. Это же о лицее.

Хорошие поступки, хорошие стремления — высмеивались. Хорошее надо утаивать. Всё это — чистая правда, гадкие страсти среди товарищей поощряются. Гадкому даже завидуют.

Перевернул страницу и ухнул в омут.

«Добрая тётушка моя, чистейшее существо, — писал Лев Толстой, — всегда говорила мне, что

она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной...»

Оксана, горничная Елизаветы Львовны, явилась перед глазами — во всей сладостной и жуткой женской стыдобе. Разве могла Оксана, не пропускавшая в церкви ни единой службы, полюбить гадкого мальчишку? Оксану присылала Елизавета Львовна. И ведь приходила. Потому что как же потерять такое место? Как не исполнить воли госпожи — пусть приказанное самое бесстыдное.

Александр глотал страницу за страницей. Белая ночь была ему пособницей. Прочитал: «Можно жить только, покуда пьян жизнью». Это так! «Законов бесконечного развития не может быть... В бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже». Какая мысль! «Жизнь человеческая есть непостижимая часть непостижимого «всего». И пример: Сакья-Муни думал, думал и додумался: жизнь — величайшее зло. А это! А это! «Нельзя перестать знать того, что знаешь».

Ещё как нельзя! Некуда деться от всезнания.

И — Господи! — ниточка ко спасению. «Вера есть сила жизни. Без веры нельзя жить».

Не читал — пылал. И, как мальчик — тёмной комнаты, боялся заключительной мысли, но ведь и жаждал её. Вот она — мудрость великого: «Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — всё это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. «Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь».

Гора спала с плеч. Его дружба с Нехаенком, его чистое спаньё с Христей — не что иное, как тяга к жизни народа.

— Великий Лев, твоя истина стала моей! — и узник поцеловал книгу.

В ту ночь «Исповедь» графа Льва Толстого была Александру подушкой.

ТОЛСТОВЕЦ

Метания подростков происходят не пото-
 му, что возраст вредный. Человек не мо-

жет быть никем. Подростки, утрачивая детство, утрачивают жизнь в Боге. Пуповина, связывающая нового человека с утробой Творения, отмирает, и подросток оказывается один на один с жизнью. В книгах — герои, государи, чародеи, пираты, а ты — никто.

Ухватившись за Толстого, лицеист Булатович нашёл свое место под солнцем: толстовец. Первое, что сделал, следуя учителю, — бросил курить. Никаких огненных взоров, никаких всполошных споров. В словах — простота, в лице — умиротворение.

Перестал ходить в церковь. Батюшки стали для Булатовича церковниками. Церковников казнил единственным словом — «толстобрюхие».

Стал знатоком Евангелия, но искал в Иисусе Христе человека. Любимым изречением юного толстовца стали слова Христа о детях:

«Кто не примет царствия Божия, как дитя: тот не войдёт в него».

Искал в себе ребёнка и радовался всему доброму, что делалось без размышления, без расчёта, а само собой. Но всякая игра — игра.

Преподаватель полицейского права Николай Афанасьевич Грифцов прочитал однажды лекцию о строгости законов, кои есть не что иное, как попечение государства о народном благе.

— Наши либералы, — говорил Грифцов, — находят чрезмерными наказания шпицрутенами во времена царства императора Николая Павловича, но так ли это?

И привёл пример из жизни казачьего Оренбургского войска. Государь, искореняя пережитки прошлого и всяческую дикость народного быта, запретил в армии ношение бороды. Из какой-то станицы приехали в Оренбург пятеро бородачей. Генерал-губернатор Перовский увидел нарушителей дисциплины и приказал сбрить нелепую красоту. Казаки объяснили генерал-губернатору: «Мы — люди старого обряда. Нам нельзя без бороды. Мы и с бородами верой и правдой служим государю императору».

— Выбирайте, — сказал Перовский, — борода или тысяча палок за невыполнение приказа.

Казаки согласились на палки. Порядок был один для всех: три сотни выдержал и повалил-

ся. В лазарет. Вылечили — и на плац за остальной порцией. Трое казаков-бородачей умерли, забитые. Других охотников перечить воле самодержца, нарушать государственное единобразие не нашлось.

Булатович поднял руку.

— Смертную казнь в России отменила императрица Елизавета Петровна. Его величество Николай Павлович, я об этом читал, назначал за иные провинности по десяти тысяч шпицрутенов...

— Но ведь голов не рубил.

— Десять тысяч палок и даже тысяча палок — разве это не казнь! Вы сами сказали, трое из пяти казаков от побоев умерли.

— Зато своеволие было искоренено. Своеволие — это бунты. Это каторга для бунтарей и сиротство для их жён и чад. Несчастье государства.

— Если чиновник обкрадывал казну, творил беззакония, наказывали тюрьмой и палками не чиновника, но того, кто осмеливался жаловаться.

— Булатович, садитесь от греха! И слушайте, что вам говорят, — примирительно сказал Грифцов.

— Но я хочу знать, справедливо ли называть право правом, ежели оно попирает стремление к справедливости, данное человеку Богом?

— Уволь, голубчик! Садись! — вскричал Грифцов.

— Я сажусь, — щёлкнул каблуками Булатович. — Но ваш пример о казаках, забитых до смерти, неудачный.

— Как вы смеете! — возмутился учитель полицейского права. — Я слышал, в вашем роду был шутейный царь, но вам-то жить в иные времена.

Булатович снова встал.

— Я не хочу знать, к чему вы помянули царя Симеона. Он был верноподданный своему государю. Но кому служите вы, защищая зло?

— Господи! — опешил Грифцов. — Отчего такая дерзость?

— Это просто совесть.

— У вас совесть, а у нас?.. Вон!

И воспитанник Булатович снова оказался на гауптвахте. Трое суток в одиночке. Впрочем, отбывающего наказание посещал, как это было предписано уставом, директор лицея.

На экзамене Грифцов задал правдолюбу сорок дополнительных вопросов. Булатович ответил на все сорок. Грифцов пришёл в восторг:

— Я бы вас расцеловал, славный юноша, но мои поцелуи не будут вам в радость.

— Поцелуйте! — нежданно для всех сказал Александр. — Мне тяжело, когда между людьми нелюбовь.

Поклонился преподавателю до земли, а тот и впрямь расцеловал странного отличника.

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЁБЫ

Воспитанники второго класса перед годовщиной лица поставили ради праздника «Ревизора». Булатович играл роль Марьи Антоновны. Роль невелика, но уже первую фразу, сказанную Сашей на сцене, повторял весь лицей: «Да что ж делать, маменька! Всё равно: через два часа мы всё узнаем».

В очередную годовщину, 19 октября 1889 года, в присутствии множества высокопоставленных гостей перед зданием лицея открыли бюст Александра I.

Присутствовал скульптор Пармен Петрович Забелло. Бюст был вырублен в тон зданию из сердобольского гранита. На постаменте герб лицея и девиз: «Для общей пользы».

Памятники — они ведь для поклонения. Но поклонение бывает разное.

Статую Пушкина, венчающую берёзовую аллею в парке, тоже ставил Забелло. И это тоже был памятник, а всё же Пушкин, хоть и высоко стоял, лицеистам «свой».

Во время торжеств Булатович не разглядел как следует скульптора, а он был знаменитость. Бюст Петра возле Петровского домика — Забелло, бюст Ломоносова в Ломоносовском сквере — Забелло. Пушкинская Татьяна — Забелло. «Русалка», Гоголь, Герцен, Тургенев, статуя Александра II. На Волковом — Салтыков-Щедрин.

Лицейст Булатович опускал глаза, проходя мимо бюста императора, но, улучив минуту, со счастливым сердцем слетал к Пушкину. Царям — служат, а к поэту, такому, как Пушкин, можно просто прийти и побыть с ним.

Ради праздника лицеисты получили увольнительную, и Александр поехал в Смольный институт повидаться с Машей.

— Я никогда не женюсь, — сказал Александр, не сводя с сестры своих лучезарных глаз.

Ресницы у Маши вспорхнули, как вспугнутые голуби.

Засмеялся:

— Я не сыщу на белом свете девы краше тебя. А на тебе жениться запрещено Богом. Тебя увезёт за тридевять земель заморский принц, и быть мне одинокому в вечной тоске.

— От моей красоты одни огорчения, — искренне сказала Маша. — Я со всеми приветлива. Я всех понимаю, прошая, чего прощать бы не надо. И пожалуйста. Против меня составляются какие-то закулисы. В Смольном ужасно!

— Потерпи, Маша. Скоро выпуск.

— Знаешь, какой талант в самой большой цене в нашей богадельне?

— Аристократичность.

— Дочки миллионеров и сановников — люди надмирные. Им позволено спать до обеда. Это для нас, бесприданниц, звон колокола — закон. Нас кормят отвратительно, а вельможные пани имеют особый стол, заказывают пищу в ресторанах.

— Ты говорила о таланте?

Маша рассмеялась.

— Искусство оттенять белизну лица клюквенным соком.

— Тебе всё дано от Бога.

— Мы с Натальей сначала попали в касту аристократов — протекция великих княгинь. Но мы вставали по колоколу. Денег на рестораны у нас не было. И теперь я одна, когда близка к выпуску, живу по уставу для всех. За это меня тоже... ненавидят.

— Не отвечай неприязню.

— Что ты, Саша! Но моя приветливость для иных хуже матерной брани.

— Мы род Бек-Булата. Смирение — гений царей. Бек-Булат смирением даже в Иоанне Грозном укрощал зверя.

— Родной ты мой! Обещаю — потерплю.

И улынулась, прикрывая глаза дивными ресницами.

— У нас поставили бюст императора Александра, но я люблю приходить к Пушкину, — сказал Саша.

— Я читала в газете, в Бахчисарае магометане соорудили памятник «Бахчисарайскому фонтану». Проект профессора Прахова.

— Магометане людей не изображают.

— Это у них не только памятник Пушкину, это ещё отклик на события 17 октября 1888 года. Помнишь? Крушение царского поезда. Семь падающих струй фонтана соответствуют числу спасённых Богом августейших особ. Господи! О чем это мы? Саша, о себе расскажи.

— Каменноостровская обитель — единая семья. Но увы! Наше родство до порога лица. Я все классы иду среди первых учеников, а чаще всего — первым, но я — сын генерала, казённокоштный. Нищенство — моё клеймо.

— Разве мы нищие?

— Луциковка кормит в Луциковке. В Петербурге с нашими доходами прозябанье... А посему по выходе из лица заткнут меня в присутствие в чине десятого разряда, а мои ближайшие друзья из семейств через год-другой окажутся в товарищах министров, в секретарях посольств... Я для себя решил: пойду в лейб-гвардию. Заслужу что заслужу.

— Но лейб-гвардия — это ведь тоже казарма! Грубые солдаты...

— Скоты офицеры. Всё так... Но армия, Машенька, мощь империи. В «Русской газете» было дано боевое обозрение. Я читал его как поэму. «Наше положение в Малой Азии представляется очень грозным в наступательном отношении и почти недоступным при обороне, вследствие приобретения в 1878 году новой выгодной границы с неприступной крепостью Карсом». Инженерная оборона, Машенька, в России доведена до совершенства. Создана целая сеть железных дорог для скорейшей переброски войск в дальние уголки империи. Войска увеличены числом и огневой мощью.

— У тебя глаза горят.

— У меня сердце гусара.

— А мне пора за крепкие стены, — Машенька грустно улыбнулась и стала ещё прекраснее. Он смотрел на неё, смотрел. И она ещё раз

улыбнулась. — А знаешь, я на днях испытала зависть. Газеты сообщили: «Мария Кексгольмская, дочь гренадёрского Кексгольмского полка, окончила варшавский Александрийско-Мариинский институт. Солдаты подобрали эту девочку в Болгарии, во время Балканской войны. Полк её растил, учил, и она поднесла своим спасителям бархатную подушку, на которой золотом, серебром, шелками вышила вензель полка, вензели государей, в царствии которых полк участвовал в боях с 1710 года!

— Чему же ты позавидовала?

— Любви. Нежности целого полка.

— Мне в жизни хватит твоей любви, любви мамы, — и закрыл глаза. — Машенька, я в счастливые минуты вижу, именно вижу — Луциковка мне улыбается.

Взял сестрицу за руку. Поцеловал ее розовые пальчики. Побежал. Не потому, что опаздывал, а чтоб не увидеть Машиных слёз. Слёзы были, но он их не увидел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬБЫ

Первоклассник лицеист Александр Булатович чувствовал себя живущим на краю пропасти.

Почти все одноклассники спокойны за будущее. Лучший ученик выпуска знал: его ждёт служба в «Собственной её величества канцелярии по ведомству учреждений императрицы Марии». Все эти учреждения творят добро, благотворительность. Знал Булатович и свой будущий чин — титулярный советник. Кому-то надобно всю жизнь спину гнуть, достигая «высот» 9-го класса.

«Он был титулярный советник, она — генеральская дочь», — напевал Александр. В паху щемило, когда мысли ударялись о такое будущее. Так и пойдёт: титулярный советник, коллежский асессор, советник надзорный, советник коллежский, а там и статский. До действительного статского без высокопоставленной родни, без княжеского титула как до неба. Уж такая гибкая нужна спина, такой талант угождения, что лучше сразу пулю в лоб.

Численник ронял листки, день выхода в люди неумолимо приближался.

Сердце щемили пушкинские стихи, груди не покидали:

*Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир — чужбина;
Отечество нам Царское Село.*

Пушкин вырос в Царском Селе, но дом на Каменном острове был его домом, его стихи лицеисту — пророчество на всю жизнь.

Леонтий Федотович Леонтьев лучшего своего ученика водил в Зимний во время высочайшего осмотра геодезических, астрономических, топографических и картографических работ и военно-учебных трудов Генерального штаба.

Государь — огромный, лобастый. Руки Микулы Селяниновича, говорят, пятаки пальцами сминает, в сапожищах, в шароварах — он был так близко, разговаривал так просто. Булатовичу через десять минут уже казалось, что он живёт рядом с этим человеком, что роднее разве что мама, Маша да Нехаенок.

Через несколько дней Александр снова побывал в Зимнем, в императорском Эрмитаже. Слушал оперу «Царь Борис». На спектакле присутствовали царь и Мария Фёдоровна, в канцелярии которой придётся служить уже через три месяца. Ужаснуло. Это он теперь так близко от ложи их величеств. Ибо лицеист. Превратясь в титулярного советника, этот самый Булатович рухнет на дно колодца. Государь с государыней станут для чиновника 9-го класса пятнышком света в недостижимой высоте. Жизнь уйдёт на составление бумаг, на хождение в более высокие кабинеты — за подписью, за милостью.

— Посмотри! Это же ангел радости! — толкнул локтем Зелёного.

В ложе, возле которой они сидели, семейство. Полковник, полковница. Очень ещё молодая, и девочка — точь-в-точь мама. Лицо светлое, и что-то в нём печальное, что-то родное, и сияющие радостью прекрасные глаза.

— Васильчиковы, — сказал Зелёный. — Князь — командир полка лейб-гвардии.

«Он был титулярный советник», — спел себе Александр, но что-то с сердцем произошло.

Скорее всего, весна нагрелась.

Петербург, ещё более серый от грязного мокрого снега, дымил трубами, не в силах перебороть зиму. А Булатовичу снились уже синие барвинки Луциковки.

Весна — пора экзаменов. Теперь это были последние экзамены.

Зелёный и впрямь позеленел, измученный подготовкой.

А у Булатовича щёки розовые, сам ветром пахнет. Располагая свободой первоклассника, Александр пропадал на островах. Сошёлся с жокеями, готовил чистокровных лошадей для дерби. До последнего дня перед экзаменами. На экзаменах отвечал нарочито сухо, скупно, но Булатовичу ставили отличные оценки. Затем попасть из первых в середняки не удалось.

1 мая 1891 года титулярный советник Александр Ксаверьевич Булатович был определён в канцелярию императрицы Марии Фёдоровны. И — слава богу! — уже 28 мая вместо чиновника 9-го разряда Петербургу явился рядовой лейб-гвардии гусарского полка 2-й кавалерийской дивизии. Шинель с бобровым воротником, бобровая шапка, ташка расшита золотом, ментик белый с бобровой опушкой.

На такую оправу Евгения Андреевна отдала все деньги, какие были в доме. Не хватило. Пришлось заниматься. Заняли.

Евгению Андреевне нужен был генерал.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

На гусара оборачивались, гусару кланялись совершенно незнакомые судари и сударыни.

Рядовой лейб-гвардии Александр Булатович, сменившись с дежурства, спешил в Казанский собор.

15 июля 1891-го — день великой печали и пронзительно сладостной благодарности. Пятьдесят лет тому назад на горе Машук нелепая дворянская гордыня казнила бесценного поэта, поручика Лермонтова. Лермонтов — зеркало, в котором отразилось лучшее, что есть в нас, а гусары Михаилу Юрьевичу — родня.

Не скорбь, но гнев всплескивал в душе Булатовича. Так плещет нынче в гранитных берегах Нева. В сердце бились вместо волн стихи.

*При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затверженных речей
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски.*

Гнев кипел в Булатовиче от нечаянно услышанного разговора.

Один господин сказал:

— Всему виной бабы. Из-за девицы Верзилиной вышла ссора... Эмилия, кажется...

Другой господин возразил.

— В стихах — умница, а в жизни такой же, как все. Где была голова, коли Божий дар даден.

Лейб-гвардии гусар готов был вызвать на дуэль за всю дурь и низость — они-то и погубили поэта! — всякого встречного. Но Невский проспект жил, как повелось, не помня о гении.

Казанский собор тяжкою колоннадою подгрёбал к себе толпы людей. И все, кто здесь был, имели сердце такое же — точно такое, что и в его гусарской груди.

Перед панихидой протоиерей отец Лебедев сказал слово. Батюшки с академией умеют говорить. И не в том дело, что по риторике сдавали экзамены.

Батюшка был выучеником не столько академии — научен он исповедьями мужиков и кухарок, нянюшек и кормилиц — деревенщины, пришедшей в город за куском белого калача — не видали аржаной России.

Слова батюшки взлелеяли в считанные минуты куколку любви в сердце гусара. Слушал и плакал.

Панихиду отслужил архимандрит Тихон, протоиерей Лебедев и Цветков ему сослужили. Хор был в полном составе. Молитвенное песнопение заполонило, казалось, не храм, а весь мир. И в этом восторге, в этом плаче гусар Булатович ощущал присутствие неба на земле.

Впрочем, истый толстовец саму службу воспринимал как нечто казённое, обязательное, затверженное. Одно и то же, да с разным рвением спели бы и статскому советнику, и

последней конторской крысе — кабинетскому регистратору, святому подвижнику и вору, всю жизнь грабившему горемык вдов и сирот. Тот же батюшка Александр Лебедев слово говорил, Бога имея в сердце, а служит, как ученик, вызубривший урок.

И все-таки душа затосковала, когда люди потекли из Казанского собора, оставив Лермонтова Богу.

Писатели говорливой гурьбой двинули в рестораны «Медведь», покатали в разные стороны экипажи, торопилось к делам, оставленным ради поэта на час-другой, простолюдые.

Булатович шёл по Невскому, чувствуя и себя покинутым. Обрадовался стайке книголюбов, торопившихся в книжную лавку. Издатель Павленков за один рубль пустил в продажу на вид дешёвый, но весьма полный том сочинений Лермонтова.

Продавец был в восторге.

— Господа! Десять тысяч тиража за полдня! Читает матушка-Россия. Читает!

Шикарные рихторовские книги не брали. Зачем, когда томик полного собрания сочинений стоит 65 копеек, а томов — четыре.

С деньгами было туго. Мать уехала в Луциковку, с переводом не торопилась... Рука гусара потянулась к изданию Павленкова, но взяла всё-таки Рихтора. Почему обязательно обедать? Можно и ужином обойтись.

Остаток дня Булатович не расставался с Лермонтовым. Читал, читал — и всё о себе.

*И скучно, и грустно! — и некому
руку подать...*

Никто моим словам не внемлет...

*На буйном пиршестве задумчив он сидел
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущую, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел...*

Наконец позволил себе прочитать самое прекрасное, но и самое страшное.

*Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землёй,*

*И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой:*

*Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим...*

Музыка Вселенной звучала в стихах, музыка миров, музыка Творения... Господи! Дивный поэт вселюбящим своим сердцем пожалел... зло. Да только ведь зло ещё не было злом, была гармония, любовь не ведала нелюбви, тьма, отделённая от света, не покушалась на свет, не седлала тьму, напоив её, как лошадь, но не водою — ужасом. Господи, за доброе, за жалость к падшему, за напоминание о жилище Света грянул выстрел Мартынова...

В четырёх стенах с такими мыслями неуютно. За окном бело — ночь белая, но церкви уже закрыты. Пошёл бродить по городу-призраку. Стоял над Мойкой, смотрел в зеркало воды, вдруг женский крик, затишье и вычурные матюки.

Булатович кинулся на голоса. Пустынная улица, дворник, наскоро одетая женщина, господин в котелке, все у клумбы, а на клумбе, раздавив цветы, голая... Очень голая, то есть совершенно...

— Господин гусар! Видите, до чего дожили! — сказала подошедшему торопливо одетая, серьёзная и, видимо, отнюдь не злобивая женщина.

— А ведь не гуляющая, господин гусар! Хорошего поведения, — сказал дворник. — Была бы гуляющая, метлой по заднице бесстыжей — и весь разговор.

— Но почему? — вырвалось у Булатовича. Он пылал щеками, но не смотреть на голую женщину не мог. — Что-то ведь случилось.

— Да потому, — сказал господин в котелке, пахнувший коньячком. — Выкинулась! Что ни кухарка — несчастная любовь.

Показал лакированной палкой на распахнутое окно в третьем этаже.

— Коли порешить себя хотела, зачем бы раздеваться? — не согласился дворник. — Расстрельных раздевают, чтоб одежда не пропала.

Девушка открыла глаза. Подняла голову, охнула при виде стольких людей, и глаза ресницами — на запор.

— Я за извозчиком, — опаматовался Булато-

вич. — Надобно в больницу. Что же доктора не позвали?

Дворник даже осерчал маленько.

— Ноги-руки целы. За полицией жену послал... Придут — решат, как положено.

Не слушая правильные рассуждения, Александр побежал к Невскому. Нашёл извозчика, поднял с постели доктора... Примчались, а все на своих местах, и околоточный тут, и хозяйева квартиры, где жила пострадавшая. Девушку с земли так и не подняли. Но срам был прикрыт брошенным поверх платьем.

Полиция нужную бумагу составила, доктор, осмотрев девушку Любовь Ивановну наскоро, ничего страшного не обнаружил, но в больницу забрал.

Гусару Булатовичу пришлось посетить участок, написать объяснение.

Расследование было в тупике, но Любовь Ивановна, отлежавшись, сама всё рассказала. Хозяйева квартиры очень строги. Дабы их не сердить, смекалистая девушка приноровилась являться домой через окно.

Опасаться в предутреннее время некого — все спят без задних ног. Поднявшись на третий этаж, Любовь Ивановна снимала обувь, всё верхнее, громоздкое, и карнизом по стене шла к своему окну. Снимала нижнее бельё, чтоб уж никакой помехи, — и в форточку.

Обходилось... А на этот раз — нет!

Булатович утром с ужасом прочитал о приключениях девушки Любви Ивановны в «Петербургском листке». Репортёр мог ведь и гусара приплести.

А через день после ночного приключения попал в свидетели ещё одной нелепой истории.

На Екатерининском канале откликнулся на женский вопль. Жилистая, сверкающая взорам мешанка держала за руки мешанку величавую, с роскошной косой из-под платка.

— Эта сука бросила ребёнка в канал! Дитя невинное! Люди! Люди!

Женщин окружила толпа зевак, явилась полиция. Охочие люди принялись нырять, обследуя дно. И нашли кухонный столик. Красавица мешанка поставила столик на парапет — передохнуть, а столик и нырни.

Крикунья баба, увидав свою промашку, кинулась бежать. Баба-недотёпа взвалила мокрый столик на плечо и пошла своей дорогой. Полицейские, похохатывая, приказали разойтись. И все разошлись... Кое-кто посмеивался. А кое-кто вроде бы и недоволен был.

— А ведь бросают! — говорила баба бабе.

— Сколько угодно.

— Нагуляют — и как щенят...

— Нынешние люди ничего не боятся. И Бог им не страшен.

У Булатовича на сердце заскребло от таких разговоров. Он уже полгода не исповедался. Да ведь и на ночь не молился. Был товарищам под стать.

ПРИЗЫ

— Булатович, у тебя шпага докрасна раскалилась!

Александр испуганно поднял обессилевшую руку с оружием.

Гусары хохотали: до чего же наивен добрая душа Булатович!

Вот кто пламень и дитя. Лошадник, но и сам не хуже двужильного жеребчика.

Три часа кряду, меня спарринг-партнёров, не покидал дорожки.

— А ведь он копия своего дядьки! — скаля белые зубы, Княжевич показал шпагой на портрет над головой Булатовича.

Александр простодушно повернулся к стене.

Лев Альбранд, двоюродный брат матушки Евгении Андреевны, смотрел на племянника и, как все в этой зале, улыбался. На Кавказской войне дядюшке оторвало в бою руку — ядром срезало, однако ж строя не покинул. Невероятно, да ведь было... Портрет Льва Альбранда в офицерском собрании, и здесь тоже...

— Коли похож, становись! — сказал Булатович Княжевичу.

— После твоей тренировки нужно сутки спать.

— Тяжело в ученье — дальше сам знаешь.

Фехтовали осторожно. Княжевич шадил упряма. Александр примеривался и — взорвался! Пришлось Княжевичу биться, напрягая силы и внимание.

Александр на глазах уставал, всё чаще опускал руку, расслабляя каменеющие от напряжения мышцы.

— Мазепа, ты выдохся. Ничья.

За поединком, оказывается, наблюдал вошедший незамеченным ротмистр Николай Костандиди, ещё один родственник.

Булатовича прозвали в полку Мазепой, потому что из Малороссии и ещё за молчаливость, за то, что принимал дурости начальства не перечая, исполняя приказания «от и до». В этом видели хохляцкие хитрости.

— Иду на вы! — предупредил Александр Княжевича. Тотчас взъярил удары, снова увял и уколол неотвратимо — в грудь.

— Тебя надо перевести в фехтовальную команду, — сказал Костандиди, поздравляя.

Княжевич обнял друга:

— Воистину, Мазепа, усыпил и, усыпив, прикончил!

Булатович улыбался.

Перед его глазами стоял полковник Робер Гавеман, признавший в лицеисте полную непригодность к занятиям рапирой, шпагой, саблей.

Улыбаясь, покачал головой, — простаки! Никто не понял, почему он так себя вымучивает. Не ради славы, господа! Сбрасывал вес перед конкурром. Завтра розыгрыш приза великого князя Владимира Александровича, главнокомандующего войсками гвардии.

Март, случается, одаривает Петербург уж такой синевой, что красотою день равен году. Сердце летит в просторы небесные, и во всём страшном городе Петра нет в ту пору ни униженных, ни вознесённых — у каждого в сердце Вселенная и Бог.

Чудо синевы переполняло Булатовича, когда пришёл его черёд одолевать препятствия. Тронув повод и ужаснулся: не оледенел, и по Медузе — волною трепет. У обоих кровь кипит.

А впереди четырнадцать препятствий. Призы хорошие. Первой лошади — тысяча рублей, второй — четыреста, третьей — двести... Не будет денег, хоть из полка уходи. Мыслишка тенью, но Медуза, будто подслушав, что и словами-то сказано не было, начала уж очень резво. Прошли одно препятствие, другое, но перед соломен-

ным барьером, погорячась, — оба, оба! — начали полёт на мгновение раньше. Половину барьера снесли. Но не всё ещё пропало, однако ж стена из кирпича — как беспощадный приговор. Кирпичи посыпались от удара копыт...

Чисто никто не прошёл, однако Медуза и её всадник — среди худших.

Осталась ещё одна возможность поправить положение.

На Рейстоне Булатович прошёл препятствия быстрее всех и вышиб из стены всего один кирпич.

Великий князь Павел Александрович, командир полка, пожал руку и, чуть наклонясь, приглушая голос, сказал, грассируя:

— Ждите, голубчик, производства.

Слова командира были как награда. Состязались перед Благовещением, а в Благовещение — храмовый праздник их полка. Александр чувствовал себя именинником. Кошки всё-таки скребли по гордыне. Двадцать один год, гусар лейб-гвардии, но ведь рядовой. Счастливейший из русских фельдмаршалов граф Румянцев-Задунайский получил полковника и полк в восемнадцать лет. В девятнадцать — графа... Господи! Что чины, когда впереди скачка. Приз Марии Павловны. Первой лошади — 350 рублей, второй — 150. Деньги небольшие, но охотников победить — весь цвет гвардии. Под корнетом Офросимовым Мэри Браун — кобыла, но нравом — лев. Ганна корнета Яфимовича умрёт, но обойти себя не позволит. Граф Мусин-Пушкин выставил Деспота, ездоком у него князь Урусов. Деспот рождён быть первым. У штаб-ротмистра Кауфмана Бородино — ездок корнет Княжевич. Бородино через раз в призах. Штаб-ротмистр Павлов на Жоржетте. Жоржетта — красавица, любит демонстрировать кобылам и жеребчикам хвост. Рядовой Булатович на собственной Медузе. Кровей арабских, масть благородно-серая, лунная, тут надо говорить стихами, но тоже арабскими, где письмена — вязь, и слова — вязь, и никакого смысла, одно лишь томление любви.

9 апреля. Красное Село.

Все в сёдлах. Пошли. И Медуза пошла, но будто без него. Очнулся от наваждения на середине дистанции. Первый — Деспот, почти вровень с

ним Бородино. Княжевич хлыста не шадит. Последняя прямая. Ганна выдвинулась на треть корпуса, Жоржетта — на голову.

Александр благодарно коснулся рукою шеи Медузы: всё в порядке.

— Пора!

Медуза по-русски знает.

Земля остановилась, остановилось всё, что было на земле.

Удар гонга. Медуза — первая и единственная. Уж только потом, через дюжину мгновений, всё ожило, пришло в движение, и Мэри Браун, леди Альбиона, принесла корнету Офросимову утешительный приз.

КОРНЕТ

Невесомые, не отягчённые звёздочками погоны давили на плечи гусара Булатовича пудовыми гирями.

«Ждите производства!» — сказано в марте, а на календаре 25 июля.

Ходили глядеть полёт аэронавтов. Два военных воздушных шара плыли по небу со стороны Ладожского озера.

— Мир умнеет, — сказал Княжевич, протирая глаза. — Устал пялиться в пустое небо. Умнеет, но становится непредсказуемым. Читал о Вере Раменской? В шесть лет по учебникам брата изучила геометрию, алгебру, тригонометрию. Теперь ей двенадцать, и она кандидат на поступление на высшие женские курсы... Или как они там называются?..

— Одарённые были во все времена. По мне, так не ума, а дуростей становится больше. С Семёновского моста мужик сиганул в Неву, достали. Жив-здоров. Спрашивают: зачем бросился в реку? «Так! Это моя была такая фантазия».

Княжевич сдвинул брови:

— Подобное безобразие — свидетельство распущенности народа. Что хочу, то ворочу. А хотят подлые сословия нынче многого. Дубина у них всегда под рукой.

— Мой лучший приятель в Луциковке был мне во всём ровня. Я лучше его скакал, быстрее бегал, но он в делах жизненных умел и знал больше моего. А что теперь? За моими

плечами лицей, за его — всё та же конюшня. Читать он, кажется, умел, но книг в его доме я не видел. Налицо холоп и барин.

— Сие от Бога.

— Как сказать. Творец даёт людям жизнь, способности, таланты... А люди между людьми выстроили перегородки. Тебе — корешки, а мне — вершки. А когда корешки слаще, то тогда мне корешки... Нам.

— Ты социалист или толстовец?

— Я — царёв, но в учении Льва Толстого — правда, как зияющая рана.

— Летит! — крикнули в толпе.

Пробив облака, спускался худеющий на глазах огромный шар. Это был «Беркут».

Часы показывали девять вечера.

Через полчаса в полукилометре от «Беркута» сел «Орёл».

Аэронавтам поднесли водки... Намёрзлись в небесах. «Беркут» достиг 1600 метров над уровнем моря... «Орёл» — 600 метров.

Над Ладожским озером поволновались, высоту теряли весьма резво.

— Вот где скачки! — у Княжевича сияли глаза.

— Ещё не известно, угодны ли Богу такие взлёты, — сказал мужик, одетый как извозчик.

Булатович обрадовался.

— Не свободен ли? Мне в Царское Село.

— Извольте, ваше благородие. Лошадка-то у меня не ахти...

— Я не тороплюсь. Прощай, Княжевич.

— Нынче бал, дружище!

— Ты же знаешь... Не танцую.

— Впрямь толстовец! — засмеялся Княжевич.

Лошадка у извозчика оказалась хуже некуда.

Извозчик оглядывался на седока, вздыхал.

— Прости, ваше благородие, за такую езду. Лошадь у меня украли... Бог наказал. Возносился перед другими... Царёвы возчики — и те на мою кобылку оглядывались... В грехах, как в паутине. Господи! Брякнул, украли-де лошадь, и сам себя окунул в геенну огненную. Она на меня в обиде была. Аз, окаянный, перед господами красуюсь, кнутом ожёг красавицу мою. Ушла.

Слёзы заливали лицо доброго человека. Не желая досадить седоку, слёз не утирал, головой вскрывал, стряхивая с ресниц.

Добрались-таки. Булатович расплатился, но извозчик половину вернул.

— Разве это езда.

— Подожди меня!

Квартира у гусара лейб-гвардии была обставлена хлопотами Евгении Андреевны.

Булатович снял со стены картину в раме, вынес.

— Прими. Картина дорогая. Не дай себя обмануть. Проси пятьсот рублей.

— Барин! Барин! — вскричал извозчик, уткнув лицо в шапку.

Булатович положил картину в коляску.

Дня через три, вечером, постучались. Извозчик, кланяясь, подал гусару обёрнутый лентой пакет.

— От семейства нашего. Дочка расшивала. Тут рубашка да полотенца. Посмотрите, ваше благородие, какая лошадь.

Темно-рыжее ваяние, точёная грудь. Морда умная, поглядела на гусара, будто знала, что и как.

— Прости, барин! Картину за двести рублей продал, — повинился извозчик. — И за красавицу двести рублей отдал. Она того стоит.

— Стоит, — согласился Булатович. — Спасибо за подарок.

— Дай тебе, Господи, жизни, какой только пожелаешь.

— Мне бы корнета.

— Всё тебе будет!

И было.

16 августа 1892 года Александра Булатовича поздравили корнетом. Николай Костандиди, радостно отдавая честь новоиспечённому офицеру, сказал:

— Выходит, ты обогнал меня.

Булатович изумился. Штаб-ротмистр улыбнулся:

— До 84-го года корнеты приравнивались прапорщикам, а ныне вы ровня подпоручикам.

ЧУВСТВО НЕЧИСТОТЫ

На скачках в Царском Селе Булатович на собственной лошади Велете взял третий приз. 20 рублей.

Через день он скакал на Гултае, лошадь принадлежала самому Булатовичу и его другу Кирьякову. Три версты, третье место. Те же 20 рублей.

На седьмой день скачек в Большом стипль-чезе в память о великом князе Николае Николаевиче Старшем корнет Булатович скакал на Рикошете. Лошадь принадлежала двум хозяевам — Лукашевичу и Задонскому.

Четыре версты испытаний.

Разумные ставили на Веракса барона Ренне, а те, у кого ноздри дрожат от предвкушения больших денег, предпочли Галиота, лошадь хитроумного грека Папалазаря. Дамы ожидали победы от Эммирата Дорожинского. Красавец поручик — хозяин и ездок. И жеребец загляденье.

Однако ж все приглядывались и к Булатовичу. Корнет — пламень. На тяжеловатом Рикошете больших побед не изведal, впрочем, соперник цепкий. Всегда в призах.

Роланд Второй ездока Козлова тоже хорош. Но Веракс!.. Но Галиот!..

Галиот и повёл скачку. Роланд Второй шёл полторы версты вторым. Чудеса — редкость, половину дистанции первым одолел Веракс. Всё стало на свои места. Веракс — впереди. Галиот — второй. Эммират — третий.

Княжевич, смотревший скачку, подошел к Кирьякову.

— Мазепа темнит? Боюсь, тяжеловат Рикошет...

— Первой лошади знаешь сколько полагаются? 1377 рублей 50 копеек. Пять процентов заводчику.

— Плюс Золотой жетон с вензелем. Его императорского высочества! — засмеялся Княжевич и показал на густую стену кустарника.

— Ай да Мазепа!

Рикошет перемахнул преграду без запинки. Веракс и Галиот остались позади. Тревожась за финиш, Булатович гнал жеребца не жалеючи.

— Даже неприлично! — радовался Княжевич за товарища.

Рикошет скакал в одиночестве. Веракс на финише уступил. Корпус! Третьим пришёл Эммират.

Победитель — в славе и в дружбе, как в мас-

ле. Правда, со временем масло становится прогорклым.

Жизнь пошла, как в парной, — клубами. Телу — нега, и ничего не видно.

Пьяной оравой завалились в «Аквариум» на конкурс красавиц.

Конкурировали самые прелестные актрисы с подмостков петербургских загородных садов и все желающие из публики.

Приехали впятером, уехали в пять пар. Устроили свой конкурс. Первый приз — купание в шампанском. Евы прошли в очередь по пиршественному столу. У судей — пять голосов, и каждая красавица получила по голосу. Купали разом всех.

На следующий день, освежая головы от безумств, ездили на газовый завод смотреть подъём военного аэростата. На шаре надпись «Утешный».

В корзине два офицера и профессор военно-медицинской академии по кафедре химии господин Минд. Офицерам надлежало исполнять военные задачи, а профессор вёл наблюдения над офицерами.

Гусарская фантазия разыгралась. На даче Княжевича устроили любовь на качелях. Напоказ.

Только через неделю корнет Булатович нашёл себя среди книжных развалов Никольского рынка.

— Барин, не пожалее! Цена самая доступная, а удовольствия — на три ночи.

— О чём ты? — пелена в голове всё ещё не рассеялась.

— Барин! — улыбался во всё лицо книгоноша.

— Сие сочинение шедевральное! Читается ровно три ночи, говорю!

Булатович взял книгу, но глядел на продавца.

— Что это?

— Крик сердца. «Петербургские женщины Невского проспекта.» Сочинение Пушкина!

На рыхлой серой обложке — чёрные жирные буквы «Петербургские женщины...». Сверху имя автора: Апушкин.

— Но это бессовестно! — Булатович вернул книгу. — Это бессовестно.

И вдруг понял: о себе говорит. О своей жизни.

Кликнул извозчика. Прикатил домой. Отёр руки одеколоном. Разделся. Отёр тело одеколоном. Отменным.

И сам же сказал себе:

— Я нечист.

Подошёл под иконы в красном углу, но не посмел осенить себя крестным знаменем: нечистота тяготила.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

Изнемогши от мерзости к самому себе, взял газету. Глаза скользнули по колонке: «Тут на чай, там — на чай, к вечеру сам голодай». «Тише едешь — трезвее будешь», «Любишь за город кататься — люби и по счёту платить».

В новостях сообщение из Варшавы. Молодой человек влюбился в бедную красавицу. Перед свадьбой она вернула ему кольцо, и горемыка тотчас отравился.

Покоробило. Искрой проскочила мыслишка: с коня башкой о камень — и конец бездарной жизни. Испугался, стал читать вслух.

— «В музее Шульф-Беньковского, Невский проспект, 27 — мумия. Мумии более двух тысяч лет... Самые маленькие лилипуты господи Башкировы и девица-обезьяна мисс Крао...»

На Семёновском плацу рысистый бег лошадей в час дня...»

Отбросил газету, но она легла на колени. Не доумеая, снова уставился в полосу. Прочитал: «Член комитета по сооружению в Галерной гавани храма во имя Милующей Божией Матери протоиерей И.И. Сергеев (Кронштадтский) пожертвовал 200 рублей. Нечаев-Мальцев — стекло на 660 руб. 29 коп. Старец Иродион — 100 руб».

Поднялся, фуражку — на голову, из дому — вон.

Надвигалась ночь, было слышно: ветер бьёт волнами о борта пароходика. В салоне душно, тесно, но на палубе ледяное дуновение Финского залива и дождь.

Соседи Булатовича, люди разного состояния, разговаривали как равные, как близкие.

— Странно подумать, но батюшка послан Богом русскому человеку не за ради нашего благочестия...

Говорил это явный мужик, руки огромные, корявые. Скорее корни, чем руки. Его собеседник, в пальто с бархатным воротничком, в пенсне, шляпа на коленях из самого дорогого магазина.

— Какое уж благочестие! — клонил виноватую голову господин, может, профессор и уж наверняка чином не менее коллежского советника. — Я и по монастырям ездил, вклады делал... Батюшка — последняя надежда... Сын плох. Откладывать операцию уже невозможно, а лучший хирург положила руку на сердце сказал: пятьдесят на пятьдесят.

— Батюшка Иоанн помолится, и операция будет не надобна.

— Я о таком слышал... О старухе, о еврейке. У неё была страшная опухоль, врачи дали три месяца жизни... Не хотела идти — другой веры.

Но привели. Подвижник в громадной толпе узрел и сам подошёл: «Не беспокойтесь. Вы другой веры, но в Бога веруете. Идите домой, скоро поправитесь».

— И поправилась?! — сказал мужик.

— Представьте себе. А чудо в селе Кончанском?! Об этом писали. Чудо комиссией удостоверено. Сам Боткин протокол подписал. Читали?

— Мы не чтецы.

— Привели к батюшке сумасшедшую. Так называемую бесноватую. Поглядел и сказал: «Всё страшное позади. Тебя дома ждут».

— Эх, Господи! — простонал мужик. — Мы своими болячками батюшку одолели... А сие — соринка в глазу, бревна не видим. На малое великая святая сила тратится.

— Вы о том, что Россия больна? — господин тоже вздохнул.

— Бог святую Свою силу являет, дабы опомнились. Поглядите, что в деревнях-то делается. Священнический чин ни во что не ставят. А батюшки по слабости кто пьёт, кто дерётся. Расстриг-то сколько! Про чистую публику и говорить нечего. Каждый второй — безбожник.

— Вы правы. Среди моих знакомых иные в церковь ходят только на Пасху. Люди большой культуры, большого таланта богоискательством занялись.

— Помолчим! — предложил мужик.

- Помолчим, — согласился господин.
- Помолимся! — вежливо уточнил мужик.
- Да-да! Вы правы! Помолимся.

Булатович провалился в сон. Во сне чувствовал: должно ему привидеться что-то очень важное, коренное. Но ничего не привиделось.

— Я живу не так, — сказал он себе во сне. Сказал, видимо, вслух. Пробудился.

Его сосед, ухоженный господин, читал полупшепотом, но лучше бы во весь голос.

Александр рассердился, но поразило услышанное:

— «Если бы жизнь моя продолжилась несколько мгновений, положим, десять — и пять из них были мгновениями спокойствия, а другие пять — томления и муки, и тогда я с несомненностью должен бы был говорить: да, несомненно есть и у меня Жизнедавец и промышляет о мне Жизнедавец мой...»

Должно быть, сон снова одолел, но конец притчи Александр услышал:

— «...А я, грешный, в духовной жизни моей имею из 100 частей по крайней мере 70 принадлежащими Богу, а только 30 — дьяволу».

— Вот в чём дело! — изумился корнет-гусар. — Вот в чём дело!

И ужаснулся: в его духовной жизни 70 частей из 100 не Богу принадлежали.

Матрос объявил:

— Кронштадт, господа!

Булатович, оставив свою волю в Царском Селе, смиренно шёл в толпе.

Четыре часа утра, тьма, как в погребке. Осенняя законная тьма.

Огромный Андреевский собор проступал из тьмы чуждой неудобной громадой. Должно быть, тот, кто против Бога, вгонял в сердце страх и нежелание взойти на паперть... Но толпа шла, и Булатович покорно шёл, чтобы не мешать тем, кто был позади его.

Он и в храме не обрёл спасительного утешения. Под сводами та же осенняя тьма. Свет лампад испуганный. Загораются свечи, но света от них никакого. Свечей много, они обозначают еще явственней, зрим ей ужас одиночества в этом мире.

Чистый ясный голос произносил слова молит-

вы, но эхо и теснота мешали слушать. Вдруг все разом шевельнулись и что-то сказали. Мгновенные спустя догадался: исповедники назвали свои имена. Послал вдогонку:

— Александр!

И обомлел: вся эта толпа, заполонившая храм, пришла покаяться и вкусить тела и крови Христа.

Люди каялись не таясь.

Об этом говорили и спорили: у батюшки Иоанна Кронштадтского исповедь общая. Притопают к нему многие тысячи, чтоб каждого исповедать, нужен день долгой в столетие.

«Как на Страшном суде! — мелькнуло ненужное, ложное сравнение, но теснота ужасающая. Перекреститься — руку нужно выдергивать. До лба, до плеч дотянешься, а вместо живота — разве что до подбородка.

Люди каялись не таясь.

Будто прорвало плотину отстойника, ограждавшую чистую жизнь от нечистой.

Хлынуло. Такое хлынуло!

Рыдали женщины. Кричала о грехах матросня. Стыдливые крестьяне бубнили о страшном, о бесстыдном, оглашали злодеяния и подлости, совершенные корысти ради, против братьев, сестер, отцов и матерей. Господа в летах избранности перечисляли безобразия, подлоги и скороговорочкой срам доносительства.

— Я живу не так! — у Булатовича духу не хватило назвать свои сладострастные падения. — Я мерзок! — говорил он и не мог принять сердцем такую исповедь.

Лицейская вышколенность даже в храме, в тесноте человеческой, находила возможность смотреть на происходящее со стороны.

«Как же все это принимает Бог? И прощает! — недоумение подавляло искренность чувства. — Как все это принимает батюшка Иоанн?»

Общему порядку все же подчинился, встал в одну из двенадцати очередей за Телом и Кровью Христа.

Причастился, но облегчения не обрел. Чудилось: всё на нем горит. Он был в форме гусара: каяться в платье обывателя — это уже сокрытие, неправда. Но ведь ни единого греха своего не явил Господу, чуть ли не всхлипывая, стал протискиваться к левому клиросу. Лба не перекрес-

тив, словно бесы хватили за платье, отворил алтарную дверь. И — тишина. Стоял, раздавленный своим детским испугом. Что же дальше? К нему подошел знакомый священник. Хорошее светлое лицо, хорошие светлые глаза, строгие, ласковые.

«Господи! — ахнул про себя Булатович. — Это же Иоанн!» Упал на колени.

— Намучился, — сказал ему по-отцовски батюшка.

— Спаси! — и говорил, говорил, не пряча голоса. Всё из сундука, где с детских лет собранные стыдом грехи, хранимые как драгоценность.

— Тебе надо постричься, — сказал Иоанн. — Не теперь... Господь укажет когда.

— Я живу не так! — вспомнил Булатович.

— Будешь доволен жизнью. России послужи, царю.

— Войны нет! — вырвалось в отчаянии.

— А ты без войны. Война тебе будет. Ты без войны, пока есть время.

Все обратное плавание Булатович спал. Сошел на берег, потрогал голову и тело: почувствовал себя отроком, будто только что из Луциковки.

ДОЧЬ КОМАНДИРА

Имение у матери, но глава семейства — мужчина. Ему, Александру Ксаверьевичу, надлежало позаботиться о сестре. О счастье сестры.

Исполняя долг, он приводил в дом на Васильевском острове своих товарищей. Лейб-гвардию, героев ипподрома.

Матушка Евгения Андреевна подбирала на свои приёмы женскую половину. Были на вечерах титулованные особы, были богатые, все молодёжь, все хороши собой, но Александр Ксаверьевич видел: ни одна из приглашенных матушкой не затмевала красотой Мари.

Матушка нанимала отличных музыкантов. В танце Мари была особенно хороша.

Смотреть на счастливых людей — на солнышке греться, но Александр, страшась, как бы его не пригласили танцевать, уходил в кабинет к курильщикам. Здесь в него вселялся остроллов и весельчак. Смешил, пьянея от собственных шуток, от взрывов хохота и поддавал, поддавал пару.

Уже в постели, без сил даже для сна, пытался

вспомнить, чем же он так уморил всю эту братию заядлых балетоманов, порочных игроков, донжуанствующих красавцев, — им бы затмить победный список Пушкина, — больных скачками, больных борзыми, больных искательством чинов и приданого. До слёз ведь хохотали, хохотали, теряя светскую фальшь, сами собой становились... на часок. Скорее всего на мгновение.

Александр Ксаверьевич не бывал в театрах и, разумеется, на балах. Но — судьба!

После дождей поле, где устроили первые по весне скачки, вспомнило, что при Петре Великом оно было трясинной. На выходе из поворота, когда теснота и особенная прыть, лошадь провалилась передними ногами в топь. Полторы дюжины копыт промчались над его головой. И не задела.

Сгоряча Александр участвовал в следующем заезде, был первым и отхватил четырёхста рублей. На радостях, влекомый товарищами, прикатил на бал в доме командира князя Васильчикова. Бал у Васильчиковых — бал лейб-гвардии.

Александр пристроился возле колонны, скорее даже за колонной. Блуждая взорами по зале, он вдруг нашел родственную душу. В креслах для матрон, отчего-то пустующих, одиноко сидела юная дама. На лице, румянном, пригожем, явственно отпечатались тоска и безнадежное терпение.

— Кто это? — спросил Булатович улана Маркова.

— Как? Ты не знаком? Княжна София Васильчикова! — изумился его постоянный соперник в скачках. — Спроси у нее что-либо и увидишь: заря и в полночь разгорается. Краснеющая особа.

Булатович, хитря, направился якобы в буфет, но обошел залу по кругу и стал в пяти шагах от княжны.

Она, видимо, приехала из Италии, а может быть, из Крыма. Лицо в позолоте загара, смелого для людей ее круга. «Златокудрая» — это тоже о княжне, при черных-то бровях, при черных глазах. Впрочем, о глазах никак не скажешь черные: сияли. А вот лицо их сиятельства — мальчишеское, деревенское.

Александр задохнулся от счастья. Мальчишеское и деревенское!

И свет на щеках. Видимо, от золота волос, от южного солнца, от глаз, от внутреннего свечения.

Спохватился: уж очень откровенно он рассматривает княжну. Уйти? Но почему? Попросить кого-либо представить — невозможно.

И тут среди танцующих мелькнуло лицо Марии. Как? С кем?! Забывши о княжне, вышел из укрытия, сделал несколько шагов. И — гора с плеч! Красавица, но не сестрица.

— Булатович! Рад, очень рад! Однако ж, вижу, не танцуешь... Докторам «показывался»? — сам Сергей Илларионович Васильчиков стоял перед корнетом. — Софи! Позволь тебя представить. Александр Ксаверьевич. Вот у кого ангел-хранитель так ангел-хранитель. Нынче в Удельной шёл первым, корпуса на два-три. И — лошадь попала в трясины. Поле было жуткое для скачек... Все копыта видел над собой, да Бог милостив.

— Я слышала о вас, — сказала княжна, по-детски разглядывая известного наездника и гусара. — Я слышала, ваш клинок в полку самый быстрый. — Вспыхнула, опустила глаза, закрыла лицо веером, тотчас убрала.

— Булатович! Вы этого еще не знаете! Вас назначили инструктором фехтовальной команды! — князь пожал руку корнету.

— Благодарю.

— Голубчик! Коли ноги целы, что же вы колонны подпираете? Танцевать! Софушка! Не откажите корнету, он заслужил твою милость. Нет, нет! Не тем, что сверзился с лошади. Он пересел на другую и уже в следующем заезде одержал победу. А вот и вальс.

У княжны пылали щеки, но и вальс у нее был всё тот же пламень.

Александр, не успевший возблагодарить судьбу за столь нежданное представление, летал под огромной люстрой, как летят на свет, на погибель свою, ночные бабочки.

— А говорят, вы не танцуете, — засмеялась княжна.

Он не знал, как покороче объяснить свою нелюбовь к балам. Княжна снова засмеялась и превратилась в вихрь.

— А говорят, это вы не танцуете!

Будь они принцем и принцессой — улетели бы.

Но медные тарелки ликующе грянули, и вальс стал прошлым. Лучшим из их прошлого.

Александр вел Софию на место. Рука у неё дрожала. За шаг до расставания подняла ресницы, и оказалось: они смотрят глаза в глаза.

«Мы одного роста», — понял Булатович. Озарило: она же на высоких каблуках!

— Кто же распускает слухи, что ты не танцуешь? — изумился отечески командир.

Пришлось улыбнуться.

На следующий день Александр был у матери. Подарил вазу великолепно белого, пропускающего свет китайского фарфора.

— Зачем ты тратишь деньги? — нахмурилась Евгения Андреевна.

— Марии на приданое.

— Она, слава богу, не купчиха.

— Мама, а что у нас с деньгами? — спросил как бы между прочим, но затаил дыхание.

— С деньгами плохо. Саша, у нас урожай к урожаю, но хлеб стоит копейки. Германию кормим.

— Ладно бы Германию! — У Александра даже скулы потемнели. Договоры заключены подлейшие. Немцы украинской отборной пшеницей свиной потчуют.

— Не бери в голову дела хозяйства! Язвю зарабатываешь.

— И все-таки я — в Луциковку. Сулой подышать! — и порадовал: — У нас предстоят скачки до Киева. На выносливость лошади, на умение распределить силы.

— Да будут тебе дороги Малороссии скатертью. Не знаешь, почему мы говорим с недобрим чувством «скатертью дорога»?

— Я того же себе пожелаю, мама! Коли дорога скатертью — стало быть, ровная, быстрая.

ЦВЕТОК ИЗ ОТРОЧЕСТВА

Сидели на берегу Сулы.

— Много ли воды утекло? — спросил Александр.

Нехаенок показал ноготь.

— Как было, так и есть.

— Как было, так и есть, — повторил Александр.

— Комони ржут за Сулою: звенить слава во Киеве, а трубы трубят аж в Санкт-Петербурге. Ты

при лошадях в Луциковке на Суле, я — в столице на берегах Невы, но тоже при лошадях. А вот Христины нет.

У Нехаенка печалью глаза заволокло.

— Христия цветами обернулась.

— Какими еще цветами?

— Могу показать.

— Покажи.

Будто детство обьяло их, упрямое, как лбина камня посреди Сулы.

Шли молча. Стежка белая, трава кругом по колено, переплетена повиликой, фиолетовыми манящими цветами мышиноного горошка.

— Какая сильная трава! — порадовался Александр.

— Дожди, теплынь.

Все было как прежде, но чего-то недоставало. Чего же все-таки?

Александр завертел головой и усмехнулся: недоставало себя прежнего. Восторга жизни.

Нехаенок привел приятеля к хате Христины. Александр не противился. Вошли в хату, а хата — цветник. От пола до потолка ни единой прогалины на стенах. Сплошь вышивки. И на каждой — цветы.

Мать Христи сидела за пяльцами.

— А, барин! — ласково улыбнулась. — Не забываешь... Луциковки.

— Рушничок хотим у тебя купить. Во всякой хате вышивки, но твои цветы — Божьи! — Нехаенок даже перекрестился.

Не отрывая глаз от работы, женщина спросила пана:

— Ваша милость, надолго к нам?

— Неделю-полторы поживу.

— Успею. Будет вашей милости вышивка.

Нехаенка осенило.

— Послушай-ка! Вас, Шквачей, весь конец. Чего барину без горничной? Приищи молодуху, да чтоб гарная.

— Федько! Я солдат, мне удобно по-всякому, — Александр глянул на дружка сердито.

— Солдата для Петербурга оставь. У нас ты природный пан.

— Нынча дивчину пришлю, — сказала Швачиха. — От нее будет привет.

— От кого? — не понял Нехаенок.

— Это я так! — улыбнулась вышивальщица.

А у пана гусара уши пылали — не мог вспомнить имени Христиной матери. Сказал:

— Ваши цветы, сударыня, воистину небесные.

— Я сама-то погляжу-погляжу — и аж в страхе! — призналась искусница. — Откуда что взялось. Не моя эта красота, пан Александр Ксаверьевич. А чья, сам разглядишь.

Расставшись с Нехаенком, Александр пошел в имение, спрямляя дорогу. Постоял на мосту над Сулою. Очень хотелось оглянуться, но не оглядывался. До той светлой ночи глазами всё равно не дотянешься.

Пошел в лес, к ручью, где когда-то встретился со старцем. Среди высоченных прямых деревьев. Чудилось: он у батюшки Иоанна, в его огромном храме.

Поглядел в зеркало криницы. Лицо холёное, чужое — лейб-гвардия.

Расплакался по-детски, слезами обильными, неутешными. Душа будто со стороны на плачущего поглядывала: небезнадёжен. Наплакался, умылся. Захотелось вдруг с волком встретиться. Признал бы или нет?

В имение возвращался, когда за вечерело. Глазами волка искал. То ли не было матерого в здешних краях, то ли показаться не пожелал.

На столе — праздничная скатерть. Серебряный поднос. На подносе закуски. Слепя белизной фартука, в столовую вошла королева, почему-то решившая играть роль служанки.

— Кофе? Взвар? Молоко? — в голосе вежливый бархат, а под бархатом барского разговора уж такая баба приозорная.

— Вас прислала матушка Христи?

— Тетушка моя, Параскева Тарасовна.

— А ваше имя?

— Лиза.

— Елизавета? А по отчеству?

— Богдановна.

— Давайте кофе. С коньяком. Лучшее снадобье для сна.

Елизавета Богдановна поклонилась, повернулась.

Боже ты мой! У Александра голова закружилась. Женственнее, чем эта луциковская баба, он и в Петербурге не видывал.

— Принесите две чашечки!

Две рюмки сам поставил. Это был ужас, да ведь неодолимый. Ехал в Луциковку как в скит, да только жизнь сильнее благих намерений. Утром на лошадь, в степь, берегом Сулы, по рощам, по гаям. Балка, заросшая дикой вишней. И новая ночь на порог, но какие уж тут ночные молитвы, когда, потупя очи, в дверях горничная, ей надобно спросить меню на завтрашний день. Меню!

Гусару и ночи было мало. Звал Елизавету Богдановну к утреннему кофе и перед обедом не мог без нее обойтись.

На предстоящий конкур рукой махнул: не о победе думал, доехать бы сил хватило. Впрочем, дивная Медуза, изумительной серебристо-серой масти, благороднейших арабских кровей, не согласилась с паном гусаром.

Конкур до Киева проводили на быстроту пробега, но при сохранности свежести лошади.

Булатовича в дорогу Параскева Тарасовна, матушка Христи, талисманом одарила. Вышивка ее была невелика, как раз по ташке. Вышивка без полей. Цветок словно бы и за края пускал свои лепестки. На пион похоже, запах пиона в воздухе стоял, скорее всего в голове. Такой невинностью, такой чистотой веяло от цветка, все-таки не успевшего расцвести во всю свою красу. В икрах ног жилки начинали трепетать, будто на свиданье летел, безнадежно опаздывая.

Какого цвета лепестки — разглядывай, всего не уловишь. Розовое, с пронзительной белизной, с таящимися отсветами неба, а пожалуй, и воды, скорее всего — росы...

Должно быть, цветок и правил Медузой. Пан гусар все еще не мог отойти от луциковских ночей. Лошадь приходила на этапах чаще всего первой и... не запыхавшись.

Из Киева гусар воротился знаменитостью. С авторитетом.

Княжна Васильчикова пригласила корнета Булатовича на пикник. Победитель пробега был интересен многим. Кавалеристов, молодых и дослужившихся до генеральских чинов, изумляло постоянство побед и отменное состояние Медузы. Корнет успел выступить на скачках в Удельной. Взял второй приз.

— Господа! — Булатович, прикрывая озорство

серьезностью, выкладывал жаждающим секретов древнюю тайну степняков. — Вам известно, что я потомок хана Бек-Булата, посаженного Иваном Грозным в земские цари. Так что знание мое наследственное. Чингисхан, а потом Батый добывали многие победы неожиданностью нападения. Их неожиданность была в скорости движения многотысячных конных масс. Причем не только летом, но и зимой, по снегу. Неутомимость мышц лошади зависит от кормов. Монголы во время длительных и скорых походов не сходя с седла кормили своих лошадей... Мясом, господа. Сушеным мясом.

Посыпались вопросы, но княгиня запротестовала. Мужчины принуждены были вернуться к дамам.

Дамы восторгались вчерашним концертом соседних оркестров. Играло более ста музыкантов. Говорили о романе «Беспросветная тьма». О лекции профессора Беляева. Беляев высмеял философию вегетарианцев. Конёк вегетарианцев: растения не поедают себе подобных, не принимают животной пищи. Но, оказывается, еще как поедают друг друга. Тот же баньян, пожирающий целые леса и сам становящийся лесом. Более того, оказывается, есть растения-охотники, убивающие насекомых, дабы утолить голод.

Булатович видел, как бледна княжна София, как нервно тербит зонт, перекладывая из руки в руку. Когда вино ударило в головы, княжна подошла к корнету.

— Да уведите же вы меня отсюда!

Они ушли к воде. Великолепные валуны, змеиное струящееся серебро залива.

— Вы уже неделю в Царском Селе, а у нас не были. — Откровенная обида и в голосе, и в деревенском — нос картошечкой — лице.

— Я не гоюсь для светской жизни, — сказал Булатович как можно мягче. — Я — с лошадьми.

Они шли под березами. Свет их был такой юношеский, такой откровенный и беззащитный, как лицо княжны. Корнет чувствовал себя отвратительным донжуаном. Грешно ли жить с горничной, ежели она часть жизни пана? Сравнение, пришедшее в голову, ужасное. А в ташке-то — цветок! Цветок Христи.

И вспоминались приходы в его спальню дру-

гой горничной — Оксаны. Женщины, присылаемой к мальчишке заботливой бабушкой Елизаветой Львовной.

Булатович молчал, и княжна молчала. Они вышли к церковке.

— Давайте хоть перекрестимся! — сказала княжна.

Перекрестившись, возвращались торопливо. И, когда подходили к самобранке, княжна шепнула:

— Вы должны им всем доказать.

Что доказать? Как доказать?

Через неделю он получил от княжны записочку, переданную горничной Васильчиковых.

Он пришел в парк в назначенный час. София примчалась на лошади.

Не сходя с седла, сказала:

— Вы должны им всем доказать! — и развернула лошадь. — Невыносимо, Булатович!

— Да что же? Отчего?

— От того, что я, кажется, пропала. Я — люблю. Умчалась.

Она была ему дорога. Но — Луциковка, то храм Иоанна Кронштадтского.

СКАКАТЬ, СКАКАТЬ!

Нежданно и, разумеется, нежданно корнета Булатовича князь Сергей Илларионович Васильчиков пригласил в учителя своему сыну Иллариону. Не математику подтянуть. Их сиятельству рыцарские искусства не давались.

А ведь это Господом посылаемая возможность видеться с княжной Софией.

Евгения Андреевна, приехавшая навестить Марию и заодно сына, пришла в восторг.

— Александр, ты становишься своим в кругу избранных! Васильчиковы со времён государя Александра Благословенного при дворе, при чинах. Батюшка твоего командира князь Илларион Васильевич был председателем государственно-го совета и кабинета министров.

— Князь Илларион Васильчиков генерал от кавалерии. Был на полях сражений Аустерлица, Бородина, брал Париж и с турками повоевал, и на Кавказе.

— Похвально знать родословную своего командира, — одобрила Евгения Андреевна. — Васильчиковы многого добились. Александр Алексеевич был гофмейстером императорского двора, директором Эрмитажа. По своей бабушке Анне Кирилловне Васильчиковой он приходится правнуком Кириллу Разумовскому, гетману Малороссии. А уж Разумовские со всеми великими в родстве: Шереметьевы, Толстые, Репнины, Загrevские, Перовские.

В Александре Ксаверьевиче вскипела досада:

— Матушка, многие из тобою названных — царедворцы новоиспечённые... Васильчиковы получили княжеский титул в 1839 году, когда Илларион Васильевич возглавлял государственный совет. Перовские — графы без году неделя. Загrevские — тем более.

— А я о чём! — всплеснула руками Евгения Андреевна. — Мой сын по крови — из царей! Симеон, будучи царём касимовским, потомок Чингисхана, а на Русское царство он венчан. Какой-нибудь Румянцев в двадцать два года был уже генералом... Твой отец — генерал-майор, потому что служил в Лебедяни, а служи в Санкт-Петербурге — получил бы генерала от инфантерии.

Александр Ксаверьевич поднял руки.

— Матушка, я — корнет в свои двадцать два, но князь Илларион Васильевич начинал службу унтер-офицером, мой командир князь Сергей Илларионович произведён в генерал-майоры в сорок два года! — и достал часы. — Мне пора на урок к моему подопечному.

— Поклонись от меня княгине Марии Николаевне.

— Непременно.

С Илларионом Булатович занимался в доме Васильчиковых, но в манеже. Учил владеть шпагой, саблей и лошадьё. Гусарская слава Булатовича была для ученика лучшей педагогией. Иллариону шёл тринадцатый год.

Княжна София посчитала себя оскорблённой: её избранник объявился в их княжеском доме как учитель. Он бы ещё в кучера нанялся. Однако брат с таким восторгом говорил об удивительных уроках на манеже, о тайнах шпаги, что София образумилась. Булатович

преподаёт брату науку воистину княжескую: убивать и оставаться невредимым.

В доме Васильчиковых Александр встречался с княгиней случайно, им не удавалось поговорить, а товарищи гусара Мазепы, сплетничая о делах великосветских, говорили о странностях княжны Софии: любительница монастырей, благодетельница нищих. А этой благодетельнице пятнадцать лет от роду.

Увы! Духовной жизнью корнета Булатовича были скачки.

Что докажешь свету, выигрывая призы на скачках? Нужна карьера. Но если нет влиятельных родственников, больших чинов не выслужишь.

И вдруг — Мадагаскар! Слово рассекло мир, как майская молния. Маленькая Европа, расплзаясь по карте, покоряла дикарей. Ташила на веревке народы и континенты из первобытного состояния к вершинам человеческого разума, к свету XIX столетия.

Дикари свирепы, кровожадны. Стало быть, их надо смирить огнем ружей и пушек.

Булатович подал рапорт. Спрашивал соизволения государя вступить вольноопределяющимся во Французскую армию для участия в покорении Мадагаскара. Князь Васильчиков помог, разрешение было получено.

Булатович засел зубрить малагасийский язык. Да чуда так близко! На Мадагаскаре водились и, может быть, водятся огромные птицы, несущие метровые яйца. Эпиорнисы.

На Мадагаскаре — черепахи как острова. Драгоценные камни, золото. Одно смутило гусара: у дикарей прямо-таки дворянское отношение к родословной. Знание шести поколений предков обязательно. У дикарей особые усыпальницы, где они хранят отцов и дедов. Не вязалось с первобытной дикостью политическое устройство. Государство имеринов было известно с XIV века, XIV век для России — господство Золотой Орды.

Увы! Мадагаскар, явившийся как дивный корабль, оказался миражом. Франция не допускала в свою колониальную армию иноземных офицеров. Было что скрывать.

Лишиться чуда огорчительно, но Александр

Ксаверьевич утешил себя мыслью: всё это — судьба. Воевать ему хотелось на стороне природных королей Мадагаскара. Что Бог ни делает — к лучшему.

Огорчение, подспудное, в мозгах, аукнулось на скачках. Упала лошадь, помяла всадника. Отлеживался дома. Доктор серьезных повреждений не нашел.

Заботясь о здоровье товарища, привезли Булатовичу юную, но уже известную прелестницу. Приказали утешить больного и с хохотом, как бесы, умчались.

Девица была хороша и видом кроткая, но как только открыла розовый ротик, пожелала выкупаться в шампанском.

— У меня две бутылки — купайтесь.

— Так пошлите! — изумилась девица.

— Денег нет! — усмехнулся Александр Ксаверьевич. — А то, что есть, возьмите. И прощайте.

Девица возмутилась.

— Я — честная! Мне заплачено. Я, не отработав, не уйду.

Отработала не без вдохновенья.

Прощаясь, шампанское — одну бутылку из двух — распили.

Девица за порог, а на пороге — княжна Васильчикова.

Александра Ксаверьевича потом прошибло. Если разминулись, то мгновеньями.

— Я буду за вами ухаживать! — объявила княжна.

— Все уже хорошо, — успокоил Софию болящий. — Отлежался.

— Вам надо оставить скачки.

— Не могу, — Александр Ксаверьевич чувствовал себя поганым и потому говорил жестко. — Призы — деньги на жизнь. Доходы с имения невелики.

Княжна и впрямь решила быть нянькой. Взялась перестилать белье на постели. Ужасно! Постель, должно быть, еще хранила запах женщины по вызову. Стыд гнал из себя злом.

— Вы мне, сидя верхом, приказывали доказывать. Что я должен доказать? Кому?

Руки у княжны были умелые, быстрые. Простыни постелены без единой морщинки.

— Это все! — у княжны пылали щеки, она

хмурила брови, лобик такой же безупречный, как постель. — Это всё чушь! Я сама. Да нет. Пусть будет как будет.

Уронила руки и была такая одинокая, безответная.

Обнял как сестру. Но запах неповторимый, волос, чистоты, детского, совсем еще детского существа. Поцеловал княжну, любя и страдая.

За нее, за себя.

— Господи! — прошептала София. — Я — ваша, но...

Стояла, как гимназистка перед инспектором. Виноватая, совершенно пропадающая.

— Я отвезу вас.

Посмотрела ему в глаза. Она была против, чтоб ее спасали.

София вышла из экипажа за квартал от дома. Она не поцеловала на прощанье, не пожала руку, глаза вот только... Благодарные и несогласившиеся...

Вернувшись домой, Александр открыл Библию и читал главу из Книги Царств. «И полюбил царь Соломон многих чужеземных женщин, кроме дочери Фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хоттеянок. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиловым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам; к ним

прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц».

Успокоил себя Александр историческим примером. Но глаза Софии стояли в нём, умоляющие и неумолимые. Перед Богом не согрешил, не воспользовался слабостью любящей девы. Перед жизнью — нехорошо поступил. У природы свои законы. От Бога, но свои.

Потом уж о Мари думал — о сестрице. Не хочешь зла себе, своему семейству, не твори худого другим.

И все-таки... Нечистым чувствовал себя. Княжна София любит, а в нем ласковое, в нем нежное сочувствие и тяга, но не страсть. Тяга, впрочем, непривычного рода, сплошное беспокойство. Пройдешь мимо такого чувства и будешь несчастным весь свой век. По крайней мере, неприкаянным.

Но... просить руки? Васильчиковы — ближние люди императорского двора, и Булатович — сумской дворянин, с шутовским царем-горемыкой в родословной.

На скачки! Скакать, скакать...

(Окончание следует)



Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —

прозаик, поэт, детский писатель, драматург, публицист, критик.

Родился в 1936 г. в Воронеже.

Окончил педагогический институт в Орехово-Зуеве.

Автор более ста книг для взрослых и детей.

Первая его книга — «Мальчик с Веселого» — была издана в 1960 г.

Наиболее известны его исторические романы: «Василий Шуйский», «Смута», «Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и др.

Многие произведения писателя адресованы детям: «Дядюшка Шорох и шушавы», повести «Агей», «Голубые луга», «Скиф и грек», «Кипрей-Полыхань», «Солдат-орешек», «Повелитель пампы» и т.д.

Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества (1968),

Всероссийской премии «Капитанская дочка» (1997),

премии им. Александра Грина (2005),

литературной премии журнала «Север» (2013) и др.

Член Союза писателей России с 1967 г.

